



ПОЭТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ РЫЛЕЕВА

С. А. ФОМИЧЕВ,

доктор филологических наук

О последних стихах К. Ф. Рылеева, написанных в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, за месяц до казни, пинято обычно или стыдливо умалчивать, или говорить извинительной скороговоркой, снисходя к тяжелойшим испытаниям, выпавшим на его долю. «На- стросние, отраженное в них,— считал, например, Ю. Г. Оксман,— моральная депрессия <...> В этих условиях и определяется воздействие на Рылеева, с одной стороны, официального служителя церкви, специально приставленного к декабристам священника Мысловского, с другой — единственно доступной ему в крепости мистико-дидактической литературы, архаические образы и церковно-славянский словарь которой оживает в его последних стихах и письмах» (Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 505—506).

Прежде всего следует разобраться, о какой «мистико-дидактической литературе» идет речь. В камере узника несомненно была Библия и еще одна книга, о которой мы узнаем из письма Рылеева к жене от 21 января 1826 года: «...Пришли мне, пожалуйста, все 11 томов Карамзина Истории <...> да прикажи также приискать в книжных лавках книгу: О подражании Христу, переводу М. М. Сперанского». «История государства Российского» до узника не дошла, что очевидно из его приписки к следующему письму к жене от 5 февраля: «Я просил тебя прислать Карамзина Историю; ты, верно, позабыла. Пожалуйста, пришли» (Рылеев К. Ф. Сочинения. Л., 1987. С. 337, 338). Книга же «О подражании Христу» здесь не упомянута, а следовательно, в камеру была доставлена. Сочиненная около 1418 года нидерландским латинским писателем Фомой Кемпийским (Томас Хемеркен), она неоднократно переводилась на все европейские языки и пользовалась популярностью среди осужденных декабристов. Стилизованная под евангельские проповеди, книга эта

утешала страдальцев. Известно, что ее читали в крепостях и ссылках С. И. Кривцов, В. К. Кюхельбекер, А. И. Одоевский. О ней же упоминал А. С. Пушкин в рецензии на книгу карбонария-узника Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека»: «... мало было избранных (даже между первоначальными пастырями церкви), которые бы в своих творениях приблизились кротостию духа, сладостию красноречия и младенческою простотою сердца к проповеди небесного учителя. В позднейшие времена неизвестный творец книги „О подражании Иисусу Христу“, Фенелон и Сильвио Пеллико в высшей степени принадлежат к сим избранным, которых ангел господний приветствовал именем *человеков благоволения*» (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 172).

Итак, в каземате Алексеевского рavelина Рылееву было дозволено читать только религиозные сочинения. Он знал, что после казни, прежде чем его тюремные записи будут переданы жене, их тщательно просмотрят. Но оставалась надежда на друзей, которые за библейскими цитатами разглядят их отнюдь не смиренное содержание. Восстание кончилось поражением. Но его поколение не пропустило своего часа. Исторический долг — там, на воле — оно выполнило до конца. Последние стихи Рылеева — по сути дела, единый цикл-триптих — обращены к соратнику по борьбе и заключению князю Е. П. Оболенскому.

Сначала удалось передать первое стихотворение. «Раз добрый наш сторож,— вспоминал Е. П. Оболенский,— приносит два кленовых листа и осторожно кладет их в глубину комнаты, в дальний угол, куда не проникал глаз часового. Он уходит — я спешу к заветному углу, поднимаю листья и читаю:

Мне тошно здесь, как на чужбине;
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст крыле мне голубине,
Да полечу и почию.

Весь мир, как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон.
Творец! Ты мне прибежище и сила,
Вонми мой вопль, услышь мой стон:

Приинкипи на мое моление,
Вонми смирению души,
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши!

Кто поймет сочувствие душ, то невидимое соприкосновение, которое внезапно объемлет душу, когда нечто родное, близкое коснется ее, тот поймет и то, что я почувствовал при чтении этих строк Рылеева! То, что мыслил, чувствовал Рылеев, сделалось моим:

его болезнь сделалась моею, его уныние усвоилось мне, его вопиющий глас вполне отразился в моей душе!» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 106—107).

Это стихотворение более всего соответствует аттестации Оболенского. Важно, однако, понять, что перед нами лишь зачин цикла, выражающий некое состояние духа, оцененное Рылеевым в следующем его стихотворении как «мысли смутные». Необходимо также привести в полном объеме библейскую цитату, включенную в первую строфу, — текст 54-го псалма Давида: «... я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне и смертные ужасы напали на меня <...> И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы <...>»

Первое стихотворение построено как безответная молитва. Но Оболенский сумел известить друга о получении его лирического послания. Наброски двух следующих рылеевских стихотворений сохранились на обороте писем его жены от 26 мая и 4 июня 1826 года. В чем-то этот автограф дополняет тексты, вновь дошедшие до Оболенского и сохранившиеся в списках ссыльных декабристов.

Второе стихотворение уже непосредственно обращено к другу. Оно также подводит итоги жизни, но говорится в нем не о раскаянии:

О милый друг, как внятен голос твой,
Как утешителен и сердцу сладок:
Он возвратил душе моей покой
И мысли смутные привел в порядок.
Для цели мы высокой созданы:
Спасителю, сей истине верховной,
Мы подчинить от всей души должны
И мир вещественный, и мир духовный.
Для смертного ужасен подвиг сей,
Но он к бессмертию стезя прямая;
И, благовествуя, речет о ней
Сама нам истина святая:
«И плоть и кровь преграды вам поставит,
Вас будут гнать и предавать,
Осмеивать и дерзостно бесславить,
Торжественно вас будут убивать,
Но тщетный страх не должен вас тревожить.
И страшны ль те, кто властен жизнь отнять,
Но этим зла вам причинить не может!
Счастлив, кого Отец мой изберет,
Кто истины здесь будет проповедник;
Тому венец, того блаженство ждет,
Тот царствия небесного наследник».
Как радостно, о друг любезный мой,
Внимаю я столь сладкому глаголу
И, как орел, на небо рвусь душой,
Но плотью увлекаюсь долу.

Замстно, что и здесь Рылеев избирает в священном писании мотивы, звучащие далеко не смиренно и вполне актуально для декабристов: «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на поприще людям» (Матф., V, 10—13).

Перед нами кульминация цикла, но не его финал — между тем вплоть до последнего времени в изданиях сочинений Рылеева его тюремные стихи обрывались на строке «Но плотью увлекаюсь долу». Это явилось результатом неверного толкования рылеевского автографа, записанного, как уже говорилось, на письмах Н. М. Рылеевой.

Между тем и Оболенский, и другие декабристы знали третью часть прощального цикла:

Ты прав: Христос спаситель нам один,
И мир, и истина, и благо наше;
Блажен, в ком дух над плотью властелин,
Кто твердо шествует к Христовой чаше.
Прямой мудрец: он жребий свой вознес,
Он предпочел небесное земному,
И, как Петра, ведет его Христос
По треволнению мирскому.

Душою чист и сердцем прав
Перед кончиною подвижник постоянный,
Как Моисей, с горы Навав,
Узрит он край обетованный.

В начале этого стихотворения интерпретируется евангельский миф о том, как, прозрев свою скорую гибель, Христос на миг смутился душою; в последнем четверостишии вспоминается библейский миф о смерти пророка Моисея после того, как он провозгласил своему народу новый закон: «И говорил Господь Моисею в тот же самый день, и сказал: взойди на сию гору Аварим, на гору Нево <...> и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложишь к народу твоему <...> Перед собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам израилевым» (Второзак., 32, 48—52).

Таково содержание цикла. Его религиозная образность продолжала традиции политической русской лирики, в которой библейские мотивы нередко использовались для выражения передовых общественных идеалов. Стихотворения эти — во всяком случае, два последних из них — созданы в июне 1826 года, когда уже был вынесен смертный приговор руководителям декабристского восстания. Рылееву это стало ясно после того, как 9 июня ему было разрешено,

наконец, свидание с женой и дочерью. Предсмертные строки были тщательно обдуманы поэтом. Заметим, что автограф двух последних стихотворений — белой, с немногими поправками и пометами. То есть записаны они были 21 июня, когда Рылеев получил чернила и написал предпоследнее письмо жене, а продуманы и выношены в предыдущие июньские дни.

Несколько позже он снова получил чернила для того, чтобы написать последнее письмо к Николаю I, и тогда он переписал стихи и сумел переправить их в камеру Оболенского. Это было поэтическое завещание Рылеева, свидетельствующее о преодолении «моральной депрессии», о верности высоким гражданским идеалам, о ясном понимании исторической роли декабристов в судьбах Отчизны.

Противоборство плоти и духа (то есть преходящих житейских горестей и святой истины, высокой цели жизни) определяет главное в цикле. О какой депрессии может идти речь, если каждая поэтическая строка устремлена ввысь! Каждая передает ощущение полета, прорыва в будущее, отделенного от узника могильной чертой. В первом стихотворении это пока еще страстное желание: «Кто даст крыле мне голубине», во втором — «И, как орел, на небо рвусь душой». Подспудно тот же образ осознавался Рылеевым и в последнем четверостишии, заключающем цикл. Первая строка его в начальном варианте звучала так: «Душою прост и сердцем чист...» — явная, хотя и «свернутая» цитата из книги Фомы Кемпийского, имевшейся у Рылеева: «Человек имеет два крыла, на коих может воспарить от вещей земных: простоту и чистоту. Простота должна быть в намерении, а чистота в привязанности. <...> Если б ты был во внутренности твоей чист и добр, тогда ты все видел и постигал бы беспрепятственно и понимал бы правильно. Сердце чистое проникает небо и преисподнюю» (Фома Кемпийский. О подражании Христу. СПб., 1821. С. 120—121). Но принципиально важно, что в заключающем цикл стихотворении мотив устремленности ввысь приобретает форму не идеального полета, а трудного шествия в гору («Кто твердо шествует <...> И, как Петра, ведет его Христос/По треволнению мирскому. <...> Перед кончиною подвижник постоянный,/Как Моисей, с горы Навав (...)»), и в последней его строке провидится «земля обетованная», обещанная пророком своему народу.



«Люблю России честь. . .»

Из наблюдений над пушкинскими текстами

И. С. ЧИСТОВА,

кандидат филологических наук

24 марта 1825 года удалившийся в свое калужское поместье когда-то блестящий гвардейский офицер, гусар, по выражению Лермонтова, «один из самых ловких повес прошлого времени», П. П. Каверин записал в памятную тетрадь четверостишие своего младшего товарища Пушкина со следующей пометой:

«Пушкин еще бывши в Лицеи куплет на себя сделал:

Я сам в себе уверен
Я умник из глупцов
Я маленькой Каверин
Лицейской Молоствов (sic)»

(Щербачев Ю. Н. *Друзья Пушкина Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин*. М., 1913. С. 104).

Отрывок этот, впервые опубликованный Ю. Н. Щербачевым по копии Каверина и введенный редакторами в собрание сочинений Пушкина без каких-либо комментариев, между тем требует некоторых пояснений.

В самом деле, о чем идет речь в приведенном выше четверостишии? Чем были вызваны самопризнания юного поэта, сравнивавшего себя с Кавериным и «отчаянным» гусаром П. Х. Молоствовым? (См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 68). Что это: легкая стихотворная шутка, экспромт, родившийся, как полагается, внезапно, без подготовки, или отрывок из несохранившегося произведения, где нашли отклик впечатления

частых дружеских встреч Пушкина с друзьями-офицерами стоявшего в Царском Селе лейб-гвардии Гусарского полка, привлекавших воспитанника Лицея не только гусарскими затеями, но и разговорами о серьезных предметах?

Последнее предположение на первый взгляд кажется наименее вероятным. Действительно, за четырьмя строчками поэтической автохарактеристики, построенной на простом уподоблении героя стихотворения его друзьям — Каверину и Молоствову, как будто не скрывается никакого дополнительного смысла, и современный неискушенный читатель не остановит внимания на куплете, пусть и не совсем для него понятном, но, по видимости, не заключающем в себе сколько-нибудь значимой историко-литературной или эстетической информации и потому малоинтересном.

Между тем пушкинский стихотворный автопортрет заслуживает того, чтобы присмотреться к нему повнимательнее. Очевидно, что стихи написаны под впечатлением общения с кругом царскосельских гусар; наиболее коротко сошелся Пушкин с П. Я. Чаадаевым, Кавериним, Молостковым:

. . . я с Кавериним гулял,
Бранил Россию с Молостковым,
С моим Чадаевым читал (. . .)

Оставив пока в стороне вопрос об отношениях Пушкина и Чаадаева, остановимся подробнее на связях поэта с фигурами так называемого второго ряда — с имевшим устойчивую репутацию гусара *par excellence* П. П. Кавериним и П. Х. Молостковым, имя которого сегодня неизвестно никому, кроме весьма узкого круга специалистов.

Собственно говоря, Пушкин сам обозначил характер этих связей в цитированном отрывке 1824 года, адресованном Я. И. Сабурову; нам остается лишь по возможности точно его прокомментировать. Весьма существенно, что и Каверин и Молостков, хорошо известные в полку и в свете своей особой склонностью к лихим гусарским затеям, шумным застольям и рискованным проказам, принадлежали к числу людей просвещенных, и беседы на литературные и особенно политические темы привлекали к ним Пушкина не менее, чем участие в озорных проделках. И с Кавериним и с Молостковым Пушкин «гулял» и вел вольнодумные разговоры («бранил Россию»); одно было едва ли отделимо от другого. . . Кутила и бретер Каверин был любимым собеседником Пушкина (см.: Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887. С. 277).

Любопытно, что Каверин, с глубочайшим интересом относившийся к поэтическим опытам своего младшего приятеля, был крайне раздосадован тем, что в одном из посвященных ему куплетов Пушкин

в качестве отличительной черты адресата избрал не что иное, как его любовь к Бахусу (Щербачев Ю. Н. *Приятели Пушкина*. . . С. 80). Каверин же предпочитал (и к тому, видимо, были определенные основания) видеть себя в известной степени в роли духовного наставника поэта или уж во всяком случае серьезного собеседника; не случайно Пушкин в «извинительном» стихотворении («Забудь, любезный мой Каверин. . .», 1817), упоминая о «счастливых грехах» Каверина, делает специальный акцент на «высоком уме» адресата («. . . ум высокий можно скрыть Безумной шалости под легким покрывалом»).

То же сочетание — гусарского удалства и сильного, острого ума — было характерно и для Молостова. О нем говорили: «Гуляка, повеса, но умный» (См.: Модзалевский Б. Л. *Пушкин*. Л., 1929. С. 336); по словам дипломата и мемуариста Д. Н. Свербева — «славный малый и либерал» (Записки Д. Н. Свербева (1799—1826). М., 1899. Т. II. С. 239). В этих записках Свербеев приводит услышанный им от самого Молостова рассказ об одном характерном инциденте, произошедшем между рассказчиком и станционным смотрителем: Молостов «поколотил порядочно» смотрителя за то, что тот назвал одну из своих служанок «рабой» (Там же). Легко представить себе, что негодующие речи Молостова в адрес крепостной России звучали и на гусарских сходках, где присутствовал Пушкин.

Гневные филиппики гусара-вольнодумца, возмущенного, как и все участники заграничных походов 1813—1814 годов, жалким положением своих сограждан в горячо любимом Отечестве, находили горячий отклик в душе юного лицеиста. Воспоминанием об этих бунтарских разговорах и явилась строка в черновом наброске «К Сабурову» (1824). Так, в стихах, написанных через 7—8 лет после царскосельских встреч, запечатлен облик Молостова-либерала, Молостова-критика; таким остался Молостов в памяти Пушкина, поскольку, вероятно, именно в вольнодумстве поэт видел определяющую черту личности своего приятеля-гусара. Заметим, что этот взгляд из будущего, как оказывается, абсолютно точно соответствует вопреки Пушкиным колоритной фигуре Молостова в момент непосредственного дружеского с ним общения. Свидетельство тому — то самое четверостишие, в котором поэт, сравнивая себя со своими знакомцами — царскосельскими гвардейцами, показывает их характеристические особенности.

Обратимся к тексту. Определение «умник из глупцов», которое, очевидно, относится и к Молостову — это в конце 1810-х — начале 1820-х годов синоним понятия «вольнодумец». Если для современного читателя слова *умный* и *глупец* семантически нейтральные, то в преддекабристские годы они — слова-сигналы, слова-лозунги: *ум* —

передовые воззрения, вольномыслие; *глупость* — рутина, воинствующая посредственность. «Обществом *умных*» назван «Союз благоденствия» в набросках Пушкина к роману «Русский Пелаг»; в «Записках Ф. Ф. Вигеля» (М., 1893) упоминаются «высокоумные молодые вольнодумцы», собиравшиеся в доме декабриста Николая Тургенева на Фонтанке.

Просвещенным умам предназначалось пробудить рабскую Россию; их слово должно было указать путь к возрождению Отечества. Понятия *умный* и *общественно прогрессивный* совпадали по своему значению.

Когда Пушкин в послании к Каверину («Забудь, любезный мой Каверин. . .») подчеркивал «высокий ум» адресата, он, по всей вероятности, имел в виду и его либеральные понятия. Каверин не мог примириться с деспотическим государством, сильным всеобщим рабским повиновением. «. . . Я покажу тебе раба, которого свобода ужасает [их тысячи, в отечестве]», — записывает Каверин в своей тетради-дневнике (Щербачев Ю. Н. Приятели Пушкина. . . С. 69). Недавний воспитанник Геттингенского университета, боевой офицер, охваченный по возвращении из-за границы горячим желанием бороться за пробуждение в обществе гражданского самосознания, Каверин, член «Союза благоденствия», чувствовал себя готовым к выполнению высокой патриотической миссии. Не эту ли уверенность («я сам в себе уверен») подразумевал Пушкин, называя себя «маленьким Кавериним»?

Прочтение куплета «Я сам в себе уверен. . .» вне учета общественно-политического лексикона просвещенных молодых людей — современников Пушкина — ровным счетом ничего не дает для понимания смысла стихотворения. Имея же в виду дополнительную смысловую нагрузку второй строки, мы с достаточной долей уверенности можем утверждать, что интересующее нас четверостишие представляет собою демонстрацию общественной позиции автора, сочувствующего передовым идеям и чувствам века (*умник*) и этим выделяющего себя из общей массы посредственностей, людей обычных (*глупцов*).

Более того, такая интерпретация как будто бы малопримечательного стихотворения объясняет появление и устанавливает идеологический контекст еще одного четверостишия, которое не имеет автографа и сохранилось в виде копий в рукописных сборниках и в ряде публикаций. Речь пойдет о стихотворении, известном под заглавием «Про себя». Читаем:

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю —
Исполню ли? Бог весть!

Стихотворение это не являлось предметом специального рассмотрения; без каких-либо комментариев оно отнесено к группе стихов, написанных Пушкиным по выходе из Лицея (при этом авторство Пушкина объявлялось не безусловным). Соображения по поводу приведенного выше стихотворения, изложенные во втором томе академического издания Полного собрания сочинений Пушкина, вызывают определенное недоумение.

В самом деле, стихотворение это печатается в разделе «Dubia», хотя среди источников текста находим весьма авторитетные сборники, в том числе тетрадь А. М. Горчакова; стихотворение датируется периодом послелицейским — июнем (не ранее 11-го) 1817 — апрелем 1820 года; вместе с тем в одной из копий есть помета «(В Лицее)», вынесенная в подзаголовок в публикации Н. П. Огарева (сборник «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1867. С. 77). Попытки отыскать среди ранних петербургских стихов Пушкина такие, которые хотя бы в каком-то отношении напоминали куплет «Про себя», очевидно обречены на неудачу. Но вот в лирике лицейской поры явную параллель к ним обнаружить нетрудно. Ритмическую организацию, интонационный строй этих стихов мы определенно узнаем в четверостишии «Я сам в себе уверен. . .» (Напомню существенное в контексте наших рассуждений примечание Каверина к тексту этих стихов: «Пушкин еще бывши в Лицеи (ср. помету в огаревской копии «Великим быть желаю. . .» «В Лицее») куплет *на себя* (ср. заглавие четверостишия — «Про себя») сделал»); и тот и другой куплет, прочитанные друг за другом, воспринимаются как отрывки, относящиеся к одному поэтическому замыслу. И дело здесь не только в формальной стороне; оба куплета объединяет отчетливо выраженная смысловая связь.

Я сам в себе уверен,
Я умник из глушцов,
Я маленький Каверин,
Лицейский Молоствов.

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю —
Исполню ли? Бог весть!

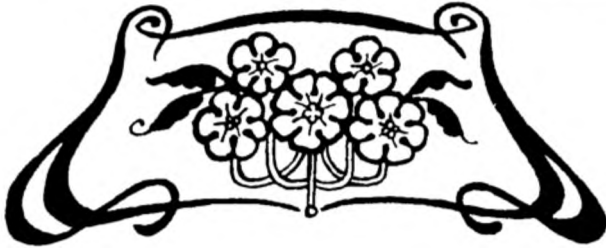
Перед нами стихи о великом предназначении; поэт призван разбудить прозябающую в сонном оцепенении Россию. Как соотносились оба представленных здесь куплета в пределах одного замысла? Очевидно, что это не были две следующие друг за другом части текста. В противном случае трудно объяснить может быть и не слишком явно выраженное, но определенно существующее противоречие строки «Я сам в себе уверен» (первый куплет) и двустишия

«Я много обещаю — /Исполню ли? Бог весть!» (второй куплет). Вероятнее всего перед нами наброски, разные варианты строф, относящихся к ненаписанному, а возможно просто не дошедшему до нас стихотворению, запечатлевшему размышления юноши о предназначенной ему судьбой высокой гражданской роли.

Возникновение подобного замысла вероятнее всего явилось следствием общения Пушкина с П. Я. Чаадаевым, с которым поэт особенно сблизился в свой последний лицейский год. Беседы с царскосельским мудрецом, духовное и интеллектуальное влияние которого на Пушкина трудно переоценить, будут живы в памяти поэта в течение многих лет. Твердо веривший в свое избранничество, свою особую роль в судьбах России, философ-гусар в разговорах с Пушкиным, видимо, обращал внимание юноши на необходимость служения обществу (Несколько позднее эта идея была сформулирована Чаадаевым следующим образом: «... если провидение призывает народ к великим судьбам, оно в то же время пошлет ему и средства свершить их: из лона его восстанут тогда великие умы, которые укажут ему путь» — Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1. С. 478). По мысли Ю. М. Лотмана, «великое будущее, готовиться к которому Чаадаев призывал Пушкина, лишь отчасти было связано с поэзией: в кабинете Демурова трактира, видимо, речь шла и о том, чтобы повторить в России подвиг Брута и Кассия — ударом меча освободить родину от тирана». «Беседы с Чаадаевым, — продолжает Лотман, — учили Пушкина видеть и свою жизнь „облагороженной высокою целью“» (Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1981. С. 49). Именно в свете этих героических и честолюбивых планов и могут быть верно поняты, как справедливо полагает исследователь, хрестоматийно известные строки:

И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Добавим же к этому еще восемь стихов — один из ранних опытов поэтического выражения общественного, этического *credo* Пушкина-лицейста, исполненного благородных помыслов и жажды великих свершений.



«Как я люблю имена и знамена...»

*Имена поэтов в художественном мире
Марины Цветаевой*

*К. Г. ПЕТРОСОВ,
доктор филологических наук*

Распахнутость души, бьющие через край чувства, романтическая окрыленность, внутренняя свобода и готовность любой ценой защитить жертву, страстная преданность искусству вообще, поэзии особенно, — как ни менялась с годами Марина Ивановна Цветаева (1892—1941), черты эти всегда определяли неповторимую цельность ее характера. С раннего детства отдала она свое сердце высокому и прекрасному.

«Пушкин, — вспоминала Цветаева, — был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили. (...) Я поделила мир на поэта — и всех, и выбрала — поэта ...» (Цветаева М. И. Избранное. М., 1990. С. 268). Трепетное чувство к Пушкину она пронесла через всю жизнь. Еще в октябре 1913 года Цветаева описала с в о ю встречу с Пушкиным: «Пушкин! — Ты знал бы по первому слову, / Кто у тебя на пути! / И просиял бы, и под руку в гору / Не предложил мне идти (...)».

И далее:

Как я люблю имена и знамена,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны, —
Каждого встречного пса! — (...)

Марионеток и звук тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя: Марина,
Байрона и болеро (...)

В этих ранних стихах Цветаева по праву парнасского братства и давнего знакомства (о гибели Пушкина она узнала трех лет от роду) обращается к своему кумиру на «ты». Но в отличие, скажем, от Есенина («О, Александр! Ты был повеса...») или Маяковского («Александр Сергеевич, разрешите представиться...») она предпочитает короткое, но весомое слово — *Пушкин!* Для Цветаевой подлинное имя поэта — прежде всего его фамилия или псевдоним: Пушкин, Блок, Ахматова... Свежо и неожиданно звучит имя поэта в первом стихотворении цветаевского цикла «Стихи к Пушкину» (1931). Возникает давно знакомый и неповторимо-цветаевский образ:

Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен,
Пушкин — в роли монумента?
Гостя каменного? — он,

Скалозубый, нагловзорый
Пушкин — в роли Командора?{...}

Все стихотворения этого цикла проникнуты пафосом, удачно обозначенным позже в работе Цветаевой «Мой Пушкин»: «С тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили{...} в подзащитные выбрала поэта: защищать — поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались» (Цветаева М. И. Избранное. С. 268).

Десятилетиями наводившийся на Пушкина «хрестоматийный глянец» был ненавистен Цветаевой не меньше, чем Маяковскому. Ее стихи о Пушкине полемичны. В сознании толпы и в устах поэта любимое имя отнюдь не одно и то же:

«Пушкин — тога, Пушкин — схи́ма,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...»
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань {...}

Одна противу всех Цветаева отстаивала веселое имя — *Пушкин*.

Другой поэт, которого Цветаева полюбила тоже рано и чьей памяти была верна до конца своих дней, — Блок. Сопоставляя его с Пушкиным, Цветаева заметила: «Не о внутреннем родстве Пушкина и Блока говорю, а о роднящей их одинаковости нашей любви». И добавила, что слова безраздельного признания «после Пушкина — вся Россия могла сказать только Блоку» (Цветаева М. И. Об искусстве. М., 1991. С. 149). Это высказывание Цветаевой относится к 1925 году. Но еще в 1916-м появилось первое стихотворение ее блоковского цикла — одическая здравица, посвященная короткому

и редкому в российском лексиконе имени — *Блокъ* (орфография старая):

Имя твоё — птица в руке,
Имя твоё — льдинка на языке,
Одно-единственное движение губ.
Имя твоё — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.

Имя поэта не названо в этом стихотворении, его произнесение словно заговорено, как бы запретно. Но оно слышится в звуке падающего в пруд камня, «отгадывается» в рифмах: «висок—курок», «глоток—глубок».

Уже первое чтение Блоком стихов произвело на Цветаеву неизгладимое впечатление. Об этом, в частности, свидетельствует девятое стихотворение блоковского цикла: «Как слабый луч сквозь черный морок адов — /Так голос твой под рокот рвущихся снарядов./И вот в громах, как некий серафим,/Оповещает голосом глухим(…)Предстало нам — всей площади широкой! — /Святое сердце Александра Блока».

Это единственное появление в цикле имени поэта не случайно. Ведь Александр по-древнегречески — защитник. И Блок, обладатель «святого сердца», не только провозвестник апокалиптического будущего, но и «некий серафим», противостоящий грому и рокоту рвущихся снарядов. На девятый день после смерти Блока Цветаева создала еще четыре стихотворения, заключающие цикл. В письме Ахматовой она утверждала: «Смерть Блока я чувствую как вознесение» (Цветаева М. И. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 623).

С творчеством Ахматовой Цветаева познакомилась еще в 1912 году, прочитав на одном дыхании ее книгу «Вечер», а позже и «Четки» (1914). Первый стихотворный отклик относится к февралю 1915 года:

В утренний сонный час,
— Кажется, четверть пятого,—
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.

Последняя строка этого оригинального заключительного катрена звучит особенно выразительно не только благодаря неожиданной рифме — «пятого — Ахматова», но и потому, что этот двухударный стих выделяется ритмическим курсивом на фоне предыдущих трехударников.

Будучи с присущей ей безоглядностью увлечена в эту пору поэзией Ахматовой, Цветаева ездила зимой 1916 года в Петербург,

чтобы познакомиться с нею, но встреча не состоялась. К лету и осени того же года относится создание цикла стихотворений «Ахматовой». В первом из них Цветаева вновь искусно выделяет бывшее на слуху у всех любителей поэзии имя автора «Четок». Но на этот раз она добивается своего иначе:

И мы шарахаемся, и глухое: ох!—
Стогысячное — тебе присягает,— Анна
Ахматова!— Это имя — огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.

Рассекая с помощью переноса столь привычно неделимое словосочетание и утвердив на нем решительный акцент, Цветаева делает имя поэта смысловым и ритмико-интонационным центром всего стихотворения.

Четвертое стихотворение цикла начинается так: «Имя ребенка — Лев,/Матери — Анна./В имени его — гнев,/В материнском — тишь./Волосом — он — рыж,/ — Голова тюльпана!— /Что ж, осанна/Маленькому царю».

Поэт великолепно обыгрывает имена сына и матери: *Лев* — царь зверей, могучий храбрец; *Анна* восходит к древнееврейскому — «благодать». Сын должен унаследовать внешние и внутренние черты не только матери, но и отца, бесстрашного путешественника и воина, автора «Жемчугов»: «Дай ему бог — вздох/И улыбку матери,/Взгляд — искателя/Жемчугов.(...) Рыжий львеныш/С глазами зелеными,/Страшное наследие тебе нести!»

Стоит упомянуть и девятое стихотворение цикла, в котором имя *Анна* повторяется в первой и последней строках, создавая кольцевую композицию: «Златоустой Анне — вся Русь/Искупительному глаголу,— /Ветер, голос мой донеси/И вот этот мой взор тяжелый».

Слова о том, что *Златоустая Анна* — *искупительный глагол* вся Русь весьма знаменательны. Имя *Анна* — «благодать» — поэт осмысливает в исконном значении ниспосланной свыше силы, помощи.

* * *

*

Общественно-политические позиции Цветаевой и Маяковского были не схожи, а часто прямо противоположны. Это не мешало Цветаевой в стихах и прозе признаваться в любви к Маяковскому. Реднило их прежде всего романтическое мироощущение, мощный человеческий и поэтический темперамент. Максимализм в поступках, чувствах заявлял о себе и в стихах. Им присущи особая ритмико-интонационная раскованность, свобода невзвужденных слов:

Превыше крестов и труб,
 Крещенный в огне и дыме,
 Архангел-тяжелоступ —
 Здорово в веках, Владимир!

В стихотворении «Маяковскому» (1921) Цветаевой удалось как бы вернуть имени поэта первоначальный смысл: *Владимир* — *Володимир* — тот, кто владеет миром. Маяковский на меньшее не согласен. Но у Цветаевой поэт не только носитель вселенских устремлений нынешнего демоса. С той же выразительностью образ Владимира проецируется и в прошлое и в будущее. Вне этого невозможно понять и озорного выражения *архангел-тяжелоступ*, и ассоциаций, связанных со стихами — «Превыше крестов и труб,/Крещенный в огне и дыме...»

Строки эти вызывают в памяти фигуру великого князя Владимира Киевского, введшего христианство на Руси и провозглашенного церковью «равнопрестольным святым». Восклицание *Здорово в веках, Владимир!* обретает еще один смысл. Что такое понимание стиха возможно и верно, подтверждает и позднейшее высказывание Цветаевой в статье «Эпос и лирика современной России» (1932): «Говоря (...) о Маяковском (...), нам непрестанно придется *помнить* на век вперед» (Цветаева М. И. Об искусстве. С. 294—295).

В августе 1930 года Цветаева пишет цикл-реквием «Маяковскому». Основа фантастического сюжета шестого стихотворения — разговор на том свете только что вознесшегося Маяковского (вспомним его поэму «Человек») с Сергеем Есениным:

Советским вельможей,
 При полном синоде...
 — Здорово, Сережа!
 — Здорово, Володя!
 Умаялся? — Малость.
 — По общим? — По личным.
 — Стрелялось? — Привычно.
 — Горелось? — Отлично.

Ситуация необычная, но благодаря особой тональности, введению имен собственных создается впечатление достоверности происходящего. Во встрече *Володи* и *Сережи* оказалось отброшенным все условное, «лишнее», неизбежно сопровождающее человеческие отношения на земле. Разговор двух поэтов, покончивших счеты с жизнью (а Цветаева, в отличие от многих наших современников не сомневалась именно в таком исходе), отличается предельной открытостью, прямотой и ясновидческой краткостью. Цветаева убеждена, что Маяковский расстался с жизнью по личным мотивам. Однако из дальнейшего диалога поэтов выясняется, что ощущение безысходности у них определялось, главным образом, мотивами общими: «Родители — родят,/Вредители — точут,/Издатели — во-

дят,/Писатели — строчут.(...) (В кровавой рогоже,/На полной под-
воде...)/ — Все то же, Сережа./ — Все то же, Володя».

Для Цветасвой и Маяковский и Есенин — поэты, принадлежащие к одному с ней поколению. Все трое ненавидели пошлость «жирных» и по-разному испытали на себе гибельный холод тоталитарного режима.

* * *

*

В заключение несколько слов об имени самой Цветасвой. Оно вошло в ее стихи рано, уже в 1913 году, когда только еще прорезывался поэтический голос: «Идешь на меня похожий,/Глаза устремляя вниз./Я их опускала — тоже!/Прохожий, остановись!/Прочти — слепоты куриной/И маков набрав букет,— /Что звали меня Мариной,/И сколько мне было лет». Имя *Марина* не случайно возникает в мнимом диалоге с прохожим. Люди должны помнить ту, что им окрещена: «Красною кистью/Рябина зажглась./Падали листья./Я родилась». Рождение и крещение поэта неделимы. Имя поэта становится его прижизненным и посмертным знаком, или, по Цветасвой, знаменем духовного бытия (см. подробнее: Горбаневский М. В. «Мне имя — Марина...» Заметки об именах собственных в поэзии М. Цветасвой//Русская речь. 1985. № 4. С. 56—64).

«Неповторимос имя: М а р и н а» встречается в стихах Цветасвой разных лет. Оно звучит то нежно, то тревожно, то властно, то умиротворяюще. Но всегда удивительно музыкально и к месту — одним словом: т а л а н т л и в о!

Коломна



«Стихи к Блоку» Марины Цветаевой

Н. В. ОЗЕРНОВА

Они никогда не были знакомы, два раза Цветаева видела его, но подойти и познакомиться не решилась.

Кто такой Блок для Цветаевой? «Марина объясняет мне, что Александр Блок — такой же великий поэт, как Пушкин» (Эфрон А. С. Страницы былого // Цветаева М. И. Избранное. М., 1990. С. 316). Блоку она посвятила цикл «Стихи к Блоку». К сожалению, ее доклад «Моя встреча с Блоком», прочитанный на литературном вечере в Париже 2 февраля 1935 года, не уцелел. Напечатан он не был, и, по утверждению А. Саакянц, нет никаких следов в сохранившихся тетрадях Цветаевой.

Блок — сильнейшее поэтическое переживание Цветаевой. Она впитала в себя многое из блоковской лирики. Описание низких серых изб, ощущения необъятности пространства, с уходящими вдаль дорогами, лебедей, роняющих перья — все говорит о внимательном знакомстве с творчеством поэта.

К 15 апреля 1916 года относится первое стихотворение Цветаевой о Блоке. Возможно, что это обращение было откликом на пребывание поэта (29 марта — 6 апреля) в Москве по делам постановки в Художественном театре драмы «Роза и крест», а, вероятно всего, на выход в «Мусажете» его книг «Театр» и первого тома «Стихотворений».

С 1 по 18 мая было написано еще семь стихотворений к Блоку. Затем — перерыв в четыре года. И возвращение к циклу: в 1920 и в 1921 годах появились восемь последних стихотворений.

Образ Блока в цикле Цветаевой не статичен, он пластично разворачивается, обрстая новыми штрихами и ассоциациями. Ее представления о Блоке — поэте и человеке складываются постепенно.

В стихотворении «Нежный призрак...» (2) блоковский облик двойственен: с одной стороны, *нежный призрак, рыцарь без укоризны*, напоминающий лирического героя «Стихов о Прекрасной Даме»; с другой, — *враг*, могущий погубить, слезить. Герой появляется незадолго до прихода ночи, в холодном городе, в сопровождении снежной стихии.

Во мгле — сизой (...)
 То не ветер
 Гонит меня по городу.
 Ох, уж третий,
 Вечер я чую врага.(...)
 Перья реют
 И медленно никнут в снег.

Ср. у Блока (авторская ремарка ко Второму видению драмы «Незнакомка»): «Тот же вечер. Конец улицы на краю города.(...) В воздухе порхает и звездится снег».

Неожиданно в воображении автора возникает образ лебедя, который выступает как символ певческого дара. Это связано с представлением о способности души странствовать по небу лебедем, олицетворяющим возрождение, чистоту, гордое одиночество, мудрость, поэзию, мужество и смерть.

9 мая 1916 года в стихотворении «Думали — человек!» (6) появляется тема смерти. Цветаева словно предугадывает судьбу Блока — неизбежность гибели Поэта:

Думали — человек!
 И умереть заставили.
 Умер теперь. Навек.

Смерть у Цветаевой есть бытие духа в вечности. И смерть оборачивается воскресением («Он воскрес, как сказал» — Матф., 28,6):

— Мертвый лежит певец
 И воскресение празднует.

Имя Блока упоминается лишь в стихотворении «Как слабый луч сквозь черный морок адов...» (9). Это связано, наверно, с тем, что стихотворение написано после блоковского вечера 9 мая 1920 года. Некоторые строки соотносятся с реальными событиями (*Так голос твой под рокот рвущихся снарядов*) — в Москве в этот день взорвалось несколько артиллерийских складов; *Как станешь солнце звать* — речь идет о «Голосе из хора», прочитанном Блоком на

этом вечере. Зал, в котором выступал поэт, сравнивается с площадью широкой. Присутствуют и блоковские реминисценции: *синий плащ* (из знаменитого «О доблестях, о подвигах, о славе ...»), *станешь солнце звать* (ср. в «Голосе из хора»: *Ты будешь солнце на небо звать*).

После его смерти трагическая нота зазвучала в полный голос. *Снеговая риза* сменилась *рваной*, крылья оказались в крови, появился терновый венец. Цветаева не может и не хочет примириться с гибелью Поэта.

В стихотворении «А над равниной...» (12) вновь является лебедь (*крик лебединый*). Эта строка вызвана легендой об умирающем лебедь, который в минуту смерти взмывает навстречу солнцу, издает последний крик («лебединая песня») и, мертвый, низвергается в воду.

И вновь — мотив гибели, на сей раз не явно («Не проломанное ребро...» — 13). *Цепок, цепок венец из терний! / Что усопшему — трепет черни* — эти строки вызывают в памяти лермонтовские: «И прежний сняв венок — они венец терновый, / Увитый лаврами, надели на него...», то есть намечается параллель Блок — Пушкин.

«Не хочу его в гробу, хочу в зорях», — напишет Цветаева Ахматовой в августе 1921 года (Цветаева М. И. Об искусстве. М., 1991. С. 378). Это чувство она выразила в стихотворении «Без зова, без слова...» (14):

А может быть, снова
Пришел, — в колыбели лежишь?

В стихотворении «Как сонный, как пьяный...» (15) смерть Блока сравнивается с гибелью Орфея:

Не эта ль,
Серебряным звоном полна,
Вдоль сонного Гебра
Плыла голова?

Отождествление Блока с Орфеем не случайно, его музыка завораживала людей, зверей, природу, так и, по мнению Цветаевой, действует блоковская поэзия.

Итак, в цикле выстраивается параллель великих Певцов: Орфей — Пушкин — Блок. Эта же параллель создана Цветаевой в письме к Р.-М. Рильке пять лет спустя, в 1926 году: «Пушкин, Блок и — чтобы назвать всех разом — *Орфей* — никогда не может умереть, поскольку он умирает именно теперь (вечно!)» (Цветаева М. И. Об искусстве. С. 397).

Одно из стихотворений цикла («Ты проходишь на запад солнца ...» — 3) опирается на молитву «Свете тихий»: «Свете тихий святыхя

славы, Бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе. Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, и Сына и Святого Духа, Бога. Достоин еси во все времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: тем же мир Тя славит» (Молитвослов. М., 1992. С. 106).

Поэт использует евангельское выражение «Пришедше на запад солнца ...» (то есть дождавшись вечера), несколько его перефразируя (*Ты проходишь на запад солнца*), заменив причастие глаголом. Без изменений заимствованы словосочетания *Свете тихий* и *Святыя славы*. В цветаевском тексте эти заимствования графически не выделены, возможно, чтобы приблизить все стихотворение к молитве.

Отметим, что молитва читается от 1-го л. мн. ч. и противопоставлены *мы* — *ты* (то есть Бог). У Цветаевой — *я* — *ты* (то есть Блок). Такое различие можно объяснить тем, что Бог как высший разум существует для всех, а Блок-Бог присутствует только в восприятии Цветаевой.

Марина Цветаева создает образ Бога — Сына, Христа (*В руку, бледную от лобзаний, / Не вобью своего гвоздя*). Она ничего не просит, ей ничего не нужно, только бы поклониться и поцеловать снег, который замел Христов след. Христос для поэта не всемогущий маг, а *Свете тихий* — *святыя славы* — */ Вседержитель моей души*. Так, творя образ Блока-божества, Цветаева не забывает о Блоке-поэте. Ее герой проходит по заснеженным улицам мимо окон героини. Отметим, что окно в цветаевской поэзии несет большую семантическую нагрузку: «...душу мою я никогда не ощущала внутри себя, всегда — вне себя, за окнами. Я — дома, а она за окном» (Цветаева М. И. Неизданные письма. Париж, 1972. С. 124). Поэт мечтает о встрече душ, об их единении, но душа Блока проходит мимо, даже не заметив души другой, ищущей с ней встречи.

Обращение Цветаевой к молитве «Свете тихий» вызывает ассоциации с высоким творением русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова — «Всенощное бдение», в котором также используется эта молитва, и композитор отходит от традиционного распева, создавая свой собственный.

Первая часть цветаевского цикла и «Всенощное бдение» написаны в годы первой мировой войны. Некоторое сходство можно отметить и по объему: у Цветаевой — 16 стихотворений, у Рахманинова — 15 частей. Любопытно, что двухчастное строение «Стихов к Блоку» напоминает композицию рахманиновского произведения, которое образуется двумя малыми циклами — вечерни и утрени.

Песнопения вечерни, в основном, лирического характера. В большинстве своем это небольшие, камерные по звучанию песни, в которых ясно ощущается связь с фольклором. Вечерне соответствует первая часть цветаевского цикла, более лирическая и песенная.

Эта часть «Стихов к Блоку» и первая часть рахманиновского «Всенощного...» заканчиваются приподнято и торжественно. Ср. у Цветаевой: «Предстало нам — всей площади широкой! — / Святос сердце Александра Блока!»; у Рахманинова: «Богородице Дево радуйся, радуйся, яко Спаса родила еси душ наших».

Утрени же подобна вторая часть цветаевского цикла. Финальное стихотворение «Так господи! И мой обол...» (16) близко по звучанию частям 13 и 14 «Всенощного бдения». Ср. у Цветаевой:

Днепром разламывая лед,
Гробовым не смущаясь тесом,
Русь — Пасхою к тебе плывет,
Разливом тысячеголосым.

У Рахманинова: «Днесь спасение миру бысть, поем Воскресшему из гроба и Начальнику жизни наша: разрушив бо смертью смерть, победу даде нам и велику милость».

Можно предположить, что «Всенощное бдение» Рахманинова, впервые исполненное в Москве в 1915 году, произвело на Цветаеву неизгладимое впечатление и повлияло на формирование замысла ее «поминальной молитвы».

Скорее всего, Цветаева сознательно ориентировалась на молитвы и церковные песнопения. Блок для нее — олицетворение поэзии, а «поэзия, по В. А. Жуковскому, есть Богов святых местах земли». «Стихи к Богу есть молитва», — писала Марина Цветаева в статье «Искусство при свете совести».

Алма-Ата





ИМЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА

Р. Д. ТИМЕНЧИК,
профессор Еврейского университета в Иерусалиме

«... Вот едет карета, запряженная настоящей Жеребцовой-Еврейной, на ней Сбруева, правит Кучера с большим рыжим Бородиным. Вот из лесу выбегает Вольф-Израэль — страшно Алчевский!!! и бросается на Жеребцову-Еврейнову, а та его Легат.

Мораль.

Кюи железо, пока горячо»

(Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979. С. 119).

Это — шуточная история, сочиненная в веселую минуту композиторами Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Лядовым. В фамилиях именитых петербургских музыкантов они с озорством разглядели простоватое, «неблагородное» этимологическое происхождение, нелепое созвучие иностранных фамилий с русскими словами.

Нечто подобное происходит со всяким именем, попадающим в контекст литературного повествования. По наблюдению Юрия Тынянова, «в художественном произведении нет неговорящих имен». Но «говорят» имена по-разному, и прежде всего это зависит от того, кому они «говорят». Осип Мандельштам с наслаждением вводит в русский стих переливы и зияния извилистого имени итальянского скульптора:

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь молчит в апрельском провороте...
А небо, небо — твой Буонаротти!

А петербургский ростовщик из одноименного водевиля Н. А. Некрасова бормочет: «Буанаротти... Буанаротти... какая фамилия странная... что за Буанаротти? ... должно быть, бестия чрезвычайный был! Из самой фамилии видно...» (Некрасов Н. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1966. Т. 4. С. 260). Степень реализации той дополнительной информации, которую несет имя всякого литературного персонажа,

зависит от осведомленности читателя. Для современного читателя имя героя гоголевского «Вия» прежде всего значимо столкновением бытового, простонародного «Хома» с символом свободолюбия «Брут», имени с «прозванием» (это столкновение обыграно в стихотворении «Левада» Владимира Нарбута, поэта начала XX века:

Спросит девушка у парубка:

— Кто вы?

— Брут.

— А звать?

— Хома.).

Но для знатока старинного российского быта это имя содержит в себе как бы свернутую историю своего происхождения, скрытый повествовательный мотив — бурсацкая кличка может быть связана с диалогом Цицерона «Virtus de oratore», и Хома удостоен ею в насмешку именно потому, что красноречием не блистал (обратил на это внимание тонкий исследователь литературной антропоники П. М. Бицилли).

Для писателя очень часто значима этимология имени. Так, знакомый архивист Н. А. Дубровский писал А. Н. Островскому: «Вчера, любезный друг, позабыл передать тебе записочку-то о значении слов: Савва и Севастиан. Савва — слово арабское, значит — Неволя, а Севастиан — слово греческое, значит — Чести достойный» (Лит. наследство. 1974. Т. 88 (1). С. 307). Но эти смыслы могут уловить, конечно, только немногие из читателей. Зато ассоциации, вызванные звуковым сходством, читатель легко распознает и включает в образ персонажа. Юрий Олеся писал о фамилиях у А. Н. Островского: «Вот маленький человек, влюбленный в актрису, похищаемую богатыми. Зовут — Мелузов. Тут и мелочь, и мелодия. Вот купец — хоть и хам, но обходительный, нравящийся женщинам. Фамилия Великатов. Тут и великан, и деликатность. (...) Вдову из „Последней жертвы“ зовут Тугина. Туга — это многие печали. Она и печалится, эта вдова. Она могла бы быть Печалиной. Но Тугина лучше. Обольстителя ее фамилия Дульчин. Здесь и дуля (он обманщик), и „дульче“ — сладкий (он ведь сладок ей!)» (Олеся Юрий. Повести и рассказы. М., 1965. С. 524).

Эмоциональную информацию несет не только морфологическое членение слова-имени — «говорящий» корень или суффикс (например, уменьшительный), но и его ритмический облик, рисунок расположения гласных и согласных. Так, именно эти характеристики сохранил Михаил Булгаков, когда в «Театральном романе» перекрестил своего давнего героя Турбина в Бахтина. А некоторая глухота великого режиссера к художественному строю пьесы Максудова (заметим кстати, что и здесь Булгаков сохранил ритмический

рисунок своей фамилии) в том и проявляется, что его сердцу ничего не говорит «ямбический» склад имени героя:

«— Ваш этот, как его?..

— Бахтин.

— Ну да... ну да, вот он закололся там вдали, (...)
а приходит домой другой и говорит матери — Бехтеев закололся!»
(Булгаков Михаил. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Л., 1978. С. 363).

«Говорит» имя и ассоциациями, которые ведут к тезкам героев в литературе, истории, мифологии. Так, А. Ф. Писемский заметил в романе «Масоны» об одной из своих героинь: «Ее сентиментальный характер отчасти выразился и в именах, которые она дала дочерям своим, и — странная случайность! — инстинкт матери как бы заранее подсказал ей главные свойства каждой девушки: старшую звали Людмилою, и действительно она была мечтательное существо; вторая — Сусанна — отличалась необыкновенною стыдливостью; а младшая — Муза — обнаруживала большую наклонность и способность к музыке» (Писемский А. Ф. Полн. собр. соч.: В 8 т. СПб., 1911. С. 14).

Такая «странная случайность» закономерна для очень многих литературных произведений. «Бог шельму метит», по народной пословице, и сюжетные судьбы персонажей часто предопределены выбранным для него именем. Но — здесь следует сделать одно важное предостережение тем, кто будет заниматься изучением «говорящего» имени — для того чтобы понять смысловую выразительность имени, надо выходить за пределы изучаемого текста и определить, как звучало это имя в конкретную эпоху и в конкретной среде и какими предпочтениями характеризуется о н о м а с т и ч е с к о е пространство данного писателя.

Эссеистика К. В. Мочульского

Имя Константина Васильевича Мочульского (1982, Одесса — 1948, Камбо, Франция) еще мало известно на родине, хотя среди литературных критиков Русского Зарубежья он, несомненно, занимает важное место. До эмиграции в 1919 году он успел не только окончить Петербургский университет (романо-германское отделение историко-филологического факультета), но и пройти опыт написания небольших статей и рецензий для «Северных записок» и журнала «Любовь к трем апельсинам». За границей Мочульский читал лекции в Софийском университете, а с 1922 года — в русском отделении Сорбонны. Как один из руководителей христианско-демократической организации «Православное дело» преследовался гестапо. Наибольшей известностью пользуются его книги: «Духовный путь Гоголя», «Владимир Соловьев. Жизнь и учение», «Достоевский. Жизнь и творчество», незавершенная трилогия о русских символистах (Блок, Белый, Брюсов). Но вместе с тем он проявил себя и как мастер «малого жанра» в литературной критике. В 20-е и 30-е годы он написал множество небольших статей и рецензий, в которых наряду с разбором того или иного произведения были даны точные, выпуклые портреты самих писателей, раскрыты особенности их литературного творчества.

Предлагаемая вниманию читателей статья об А. М. Ремизове была опубликована в парижском еженедельнике «Звено» от 17 декабря 1923 года. Впоследствии в рецензиях на новые книги писателя Мочульский как бы дополнял то, что было им написано в этой статье. В 1928 году в отклике на ремизовский роман «Оля» он более подробно писал об языке писателя: «В каждом новом произведении язык его творится заново. Из фразы выброшены все „вспомогательные средства“ (для Ремизова характерно опущение союзов, местоимений, эпитетов и систематическое введение эллипсов); она сжата и наполнена. Почти все предложения — главные, логические отношения не показаны, а только отмечены знаками препинания (двоеточие, тире); периоды строятся не по правилам риторики, а по законам разговорной речи. Изобилуют интонационные знаки (... , !), слова-жесты (вот, тут, это). Создается иллюзия живого голоса — то заглушенного, интимно-шепчущего, то взволнованно-громкого, то спокойно-замедленного, то торопливо-прерывающегося. Из интонаций вырастает перед нами образ самого рассказчика: ты

видишь его жесты, тики, ужимочки; его улыбку и хитрый взгляд» (Современные записки. 1928. № 34).

Эту же тему Мочульский развивает спустя четыре года в рецензии на только что вышедшие ремизовские произведения:

«Перед реальностью ремизовского рассказчика — чудака, выдумщика, нечетчика, мастера все клеить и вырезать, сновидца, сказочника, крогчайшего духом, замученного жизнью, загнанного в подполье, проказника — кавалера обезьяньей палаты, истерзанного жалостью и умиленного перед Богом — перед этим образом фигуры лесковских рассказчиков, пушкинского Белкина и гоголевского Рудого Панька кажутся литературной стилизацией. Ремизов создал своего героя — русского писателя, у которого под потолком на нитках висят сухие сучки, звезды и рыбы кости, который не только на иностранном языке, и по-русски ничего толком объяснить не может, который дома разговаривает с „эспри“ и „гешпеистами“, а на улице забывает, куда идет, путает трамваи и попадает под автомобили. И этот „обезоруженный перед борьбой за существование“, боязливый, странный (не как все), „непонятный писатель“, сутулящийся, чтобы только пройти сторонкой, незамеченным, постоянно ощущает, что им нарушены „какие-то явные меры душевного пространства“, что жизнь его как бы вне времени, что явь у него так сплетена со снами, что со „здравым смыслом“ тут ничего не поделаешь. В сочинениях Ремизова из-за каждой его особенно — как только он один умеет — выгнутой фразы посматривает на нас лукаво печальное лицо этого „чудака“. Похож ли на него сам Алексей Михайлович Ремизов? Вопрос праздный — об искренности, о психологии творчества. Как бы мы его не решили, ничего он не прибавит к нашему пониманию ремизовского искусства» (Современные записки. 1932. № 48).

В. В. Розанов, по мнению Мочульского, относился, как и Ремизов, к «не-канонизированным» писателям (в упомянутой рецензии на роман «Оля» Розанов стоит в этом ряду вместе с Аввакумом и Лесковым). Статья о Розанове — вторая в нашей подборке — приуроченная к переизданию «Уединенного», появилась в 1928 году в четвертом номере журнала «Звено». В ней ощущается школа русского формализма, которую в свое время прошел Мочульский. За работами опоязовцев он внимательно следил, особенно часто откликнулся на работы Б. М. Эйхенбаума. В поздних монографиях о русских символистах он неоднократно прибегал к разбору стиха в духе формальной школы, давая подчас (например, в разборе блоковских «Шагов командора») классические образцы.

Но Мочульский не мог ограничиться только анализом приемов, и позиция В. Б. Шкловского в отношении Розанова («Эти книги — не нечто совсем бесформенное, так как мы видим в них какое-то

постоянство присма их сложения» — «Гамбургский счет». М., 1990. С. 124) была для него лишь «технической» стороной дела. «Новый прием должен быть оправдан и психологически», — вот тезис, по мнению Мочульского, который упустили русскими формалистами. Чтобы писать иначе, чем пишут другие, нужна внутренняя на это санкция, которую можно, вероятно, не принимать во внимание, если мы видим один только литературный процесс, но которую нельзя обойти, если мы говорим о конкретном писателе. Мочульский в объяснении этой, второй, стороны, приходит к главнейшему для Розанова даже не понятию, а чувству — чувству Бога. Только постоянное чувство «Главизны мира» и позволило быть столь противоречивым, столь «непричесанным» и до неприличия откровенным перед читателем. Перед Богом — ничего не стыдно, ибо Он все знает о тебе. Конец «Опавших листьев» (о «персях мира» и «тайне лона его») и рисует нам это интимное переживание писателя, позволившее создать жанр «Уединенного»:

«...И маленький Розанов, где-то запутавшийся в его персях. И вечно сосущий из них молоко. И люблю я этот сосок мира, смуглый и благовонный, с чуть-чуть волосами вокруг. И держат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Главизна мира обо мне и бережет меня».

В публикации сохранены особенности авторской орфографии и синтаксиса.

К. В. Мочульский

О творчестве Алексея Ремизова

«Оттого ли, говорит Ремизов, что родился я в Купальскую ночь, когда в полночь цветет папоротник и вся нечисть лесная, водяная и воздушная, собирается в купальский хоровод скакать и кружиться, и бывает особенно буйна и громка, я почувствовал в себе глаз на этих лесных, водяных и воздушных духов, и две книги мои «Посолонь» и «Ко Морю-Океану» в сущности рассказ о знакомых и приятелях моих из мира невидимого — «чертячьего».

И эти книги — необыкновенные.

С названиями и определениями к ним и подойти нельзя. Для этого жанра следовало бы новое слово выдумать. Рассказывается о духах, чертях, нечисти — и не «фантастика». Фантастика — воз-

душна, бесплотна, соткана из снов и туманов: гляди издали, не шелохнись — не то рассыплется. Все зыблется неуловимо — «игра воображения»... У Ремизова «вещность», конкретность, натурализм чертячий. И жизнь буйная, громкая — жизнь разбухшей весенней земли, жадных почек и листьев, жизнь зверя, камня, цветка. Все эти «духи земные» — не иносказанье, не поэтические фигуры, а самые настоящие «жители». Кто на них глота не имеет, толкует, как слепой, об явлениях природы да о древних поверьях. Вот, например, живет Кострома (по ученому: олицетворение хлебного зерна), живет не как символ, а сам по себе: «на зеленой лужайке заляжет; лежит-валяется, брюшко себе лапкой почесывает, — брюшко у Костромы мяконькое, переливается».

Или Коловертыш: «трусик, не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым пустым, вялым зобом». Живет он в избушке у ведьмы: «У самых дверей — ступа, из ступы, как заячье ухо, торчал залежанный войлок: видно в ступе свил себе прочно ночное гнездо Коловертыш».

А на болоте другой «лешка»: «Весь измоделый, карла, квелый, как палый лист, птичья губа — Боли-бошка, — востренький носик, сам рукастый, а глаза, будто печальные, хитрые-хитрые». Так придумать нельзя — разве не чувствуется точная запись с натуры? А о ком — вскользь только, одним словом обмолвится, но в этом слове — вся полнота живого опыта, долгого интимного общения. Поэтому-то ремизовская «нечисть» и не пугает, хоть и шумит она, проказит, возится, хоть и любит подурочить да побеспокоить человека, а не злая. О «жутком» рассказывает автор, делает «страшные» глаза, но не забывает, что чертенята — его «приятели». К одной фразе даже примечание есть: «Эту фразу надо прочесть так, чтобы действительно слушатели забоялись»; но рассказчик улыбается лукаво: «Ага, напугал я вас!»

И все повествование, как солнечным светом, пронизано нежностью. Веселится, искрится, звенит на все голоса и движется, движется «весенняя нечисть». Никакие описания природы, никакие гимны миру не заглушат радостной суматохи, этого писка и визга. Из всех щелей, из всех выбоин, из-под кочек и кустов, из оврагов, лесов и рек — выползают таинственные существа; срываются с веток, скатываются с гор, выпрыгивают из моря — со всех сторон — сколько их, всех и не пересчитаешь: «домовые, домихи, гуменные, банные, лесунки, лесовые, лешие, листотрясы, кореневые, дупляные, моховые, полевые, водяные, хлевники, гужаки, наброжие и облом, костолом, кожедер, тяжкун, шатун, хитник, лядащик, головохвост, ярун, долгоносик, шпыня, куреха и шепотун со своєю шептухой».

До Ремизова знали мы и обряды, и поверья, и сказки народные; но были они распределены по своим «твердо определенным местам»

и стали «фольклором». А он взглянул на них своим «глазом» — мудрым и детским — и вдруг воскресли. Когда-то любовь, отгорев, оставляла миф; миф застывал в обряде и забывался в игре. Ремизов от хоровода восходит к мифу, детская игра в «Кукушку» или «Кострому» раскрывает перед нами глубинную древнюю основу: обряд оживает, и эмоция разливается потоком по высохшему руслу.

Искусство Ремизова в изумительной своей простоте загадочно. Можно классифицировать и обнажать его приемы, можно подмечать и описывать его «манеры» — но все же из сетей анализа самое существенное выскользнет. Обобщать, сравнивать — значит потерять его безвозвратно. Ибо приемы его — оборотни, — они в движении — не застыли и не остыли еще. Причудливые, изменчивые, всегда неожиданные, полные самых противоречивых смыслов. Сказочник, друг чертячий, добрый кот Котофей Котофеевич, шутник и выдумщик оборотится вдруг монашеским смиренным, тихим и благостным, «проходящим дни свои у некоего старца в научении». И вся «нечисть» сгинет внезапно в звоне монастырских колоколов, в ладонном духе, в свете чистых риз Господних. Так же бесхитростно ведет свой рассказ скромный послушник; те же слова немудреные, от сердца незамысловитого; внушены они древними сказаниями и христианскими легендами. Вся разница не в окраске даже, а в нюансе — но все разом изменяется. Ритм иной, голос не тот, — церковность, молитвенность умиленная, келья вместо степи языческой: «перед воротами рая под райским деревом за золотым столом сидят угодники» — и стелется благовест над Русской землей от Печерской в Киеве до Святой Софии в Новгороде и от Исакия до Успенского в Москве.

Русь святая, благолепная, исхоженная мучениками и чудотворцами; простирает над ней Божия Мать свой покров, затканый звездами, благославляет ее «трижды великим благословением» Никола Милостивый. Каждое слово в «Отреченных повестях», — «Лимонаре, луге духовном», как самоцветный камень, на Плащанице — блеск в нем, и жар, и крепость невиданные. В «Посолони» сказ торопливый, с прибауточкой, с ужимкой и смешком, то нараспев задорно так, то шепотком, чтобы «забоялись» — в «Лимонаре» — важно-замедленный, тихий и благовейный, книжный чуть-чуть и вразумительный; читает автор со тщанием по «чудной книге, писанной полууставом», будто указкой «водит».

«Богородица держала на руках Сына Христа, собиралась в дорогу. Иосиф хлопотал у саней, разговаривал с Сивкой. И, усадив Богородицу с Младенцем, махнул старик рукавицей. И побежала лошадедка по дороге в цыганскую землю, как указал Иосифу ангел, в Египет».

Словесное искусство Ремизова основано на тончайшем чувстве ритма: ритм движет его композицией, обуславливает синтаксические

конструкции, порождает образы. Автор «Крестовых сестер» и «В поле блакитном» не только слышит слово, но и знает его по весу и наощупь: бывают у него слова маленькие и очнь тяжелые, — другие на вид грузные, а ничего не весят — пустышки; одни — гладкие и ловкие, другие неповоротливые и шершавые. Иное слово, как камень, всю фразу вниз потянет; а иное — невзрачное — на своем месте вдруг просияет. Слова его то нанизываются, как жемчужины; то, как мозаика, плотно друг к другу пригоняются, то стеною вверх строятся. И какое их множество — и знатные, и «подлые», и ученые, и народные, и торжественные, и «разговорные», и разные славянизмы, и архаизмы, провинциализмы и т. д. Одни любят простор — раскатистые периоды; другие — быстрый бег, тесноту, коротенькие предложения. Одни тщеславны — надо всеми хотят господствовать, другие — робкие — жмутся друг к другу; есть и старые, и молодые, и чистенькие, и запачканные, и аристократы, и нищие. Об искусстве Ремизова ритмически организовывать словесную массу можно было бы написать целое исследование. Его язык — особый; звучание и выразительность его — неповторимы и неподражаемы.

Каждое его прикосновение к слову — творческое. Берется он за труднейшие задания: за движением его фразы следишь со страхом и изумлением; цель сперва кажется недостижимой да ведь эти слова так прозвучать не могут, никогда они так не звучали — не выдержит фраза такого напряжения, не может так высоко взлететь, так круто повернуть! И вот же — звучат, влзают, поворачиваются, будто и усилия никакого не было.

Сожмет он слово и не выпускает — переломает, вывернет по-своему — и выйдет оно из его рук — еще краше, еще крепче. Даже заведомо выдуманные им слова — все подлинные, русские. Синтаксис его — запись устного рассказа, нотные знаки, отмечающие ритм и интонацию живой речи. Не кончит фразу, задумается — пауза; или вдруг разорвет правильное построение длинным вводным предложением; а то от волнения собьется, слова подходящего не подыщет — жест. Гибки, смки, свободны его конструкции. Иное словечко, иное восклицание повторяется упорно, а нередко и целые тирады возвращаются, как песенные припевы. Перестановки слов у него самые мудреные, повороты и срывы, от которых дух захватывает — и при этом всегда ясность, всегда легкость.

«Как-то в будний день иду и вижу, идет, — зимой было, — ничего, все, как следует, по-зимнему: ротонда на ней — коза ангорская, такая пушистая, белая... да не идет, это мы с вами едем, а она — экая! — она знай себе — по морозцу-то приплясывает».

Грамматический грузный аппарат, логические связи и зависимости уничтожены. Каждое выражение жестикулирует, фразы дви-

жутся, сталкиваются, живут своей жизнью. Какой материал для теще, для актера: здесь синтаксис становится мимикой.

Не в русскую литературу только, но и в историю русского языка затейливой вязью впишется имя Алексея Ремизова.

Заметки о Розанове

Недавно в Париже было переиздано «Уединенное». Значительность Розанова растет для нас с каждым годом. При жизни его мало замечали. Когда заметили, принялись яростно «хулить». Он достиг известности — но какой! «Юродливый», «кликуша», «безответственный», «непристойный» писатель, да и писатель ли? Не то богослов, не то фельетонист, публицист, цинично раскрывающий все сокровенное, философ, не создавший никакого учения, интимничающий о Боге, половом вопросе и обрезании. Корректный критик издали посматривал на «розановщину», как на свалку какого-то разнокалиберного сырья, и опускал руки перед невозможностью сведения его к «единству». А так как критика только и умеет делать, что «сводить к единству», — то Розанов и остался в заштатных писателях. Ведь если в понятии «литература» есть какое-нибудь содержание, то писания Розанова должны быть «отреченными». И в пример приводился Толстой: если Толстой — литература, то Розанов — не литература. Теперь это разделение кажется нам нелепым, — но все же к нему стоит присмотреться. В нем есть осколок правды о Розанове.

Ненависть к литературе прирождена этому профессиональному литератору. Процесс писания — сама его жизнь; он записывает везде: на улице, в вагоне, в редакции, на извозчике, в уборной, в постели ночью; пишет на всем: на клочке бумаги, на обороте транспаранта, на конверте полученного письма, на подошве туфли, и эта сбременность на вечное, непрерывное высказывание, «выговаривание», «выражение» для него сладостна до приторности, до отвращения. Он терзается своим безволием, перед непреодолимой потребностью все вынести на показ, на площадь... «А ведь по существу-то — Боже! Боже! — в душе моей вечно стоял монастырь. Неужели же мне нужна была площадь? Брррр...» Гримаса брезгливости, стон тошноты, вопль, что вот, не могу иначе. И самое противное, что в отвратности этой — густая сладость, от которой захлебываешься, содрогаешься и оторваться не можешь. «В сущности, вполне метафизично: „самое интимное отдаю всем“... Черт знает, что такое: можно и убить от негодования, а можно... и бесконечно задуматься».

Помните, в поразительном его рассказе о еврейской микве — и «неприлично» и свято. Значит, неприличное и святое может совмещаться! Для Розанова это открытие величайшее. Снизшел свет и все озарил. И быть может, никогда он не прикасался так «интимно» к чуду. На этом слиянии противоречий открывается для него его особый, единственный путь. Подчеркнуть противоположности, довести их до самого резкого выражения: сделать один конец черным до полного мрака, до ада, а другой обелить райскими лучами — и потом вдруг одним словом перскинуть мост через эту пропасть и поставить знак равенства, на зло логике и здравому смыслу. В том предприятии, как обычно у Розанова, предельная искренность и обнаженность сплетаются с озорством и мистификацией. И говорится так:

«Действительно в существо актера, писателя, адвоката входит психология проститутки, то есть этого равнодушия ко всем и ласковости со всеми».

Это — «черный конец»: «мое дело, дело всей моей жизни — проституция». Он пишет не потому, чтобы был смысл, была цель, а при полном равнодушии к людям, повинуюсь простому инстинкту: «Всякое движение души у меня сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание я хочу непременно записать». Да, понятно: если литература есть некая religio, — связь пишущего и воспринимающего, если без обращенности к другому — литературы быть не может, то Розанов — не литература. «Зачем? Кому нужно? Просто — мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже давно пишу „без читателя“ — просто потому, что нравится». Вот какой оказывается эта «интимная беседа». Ни с кем, «ни для кому». И никого, вообще, нет. «Мир, как мое представление». Розанов из Шопенгауэра прочел только первую страницу, но эту фразу запомнил твердо.

Литература — не монолог и не исповедь в пустыне, — представляется Розанову величайшей ложью и лицемерием. В «Уединенном» все мысли его пронизаны этой упорной враждой:

«И литература сделалась мне противна».

«Русская литература — все это есть производная от студенческой курилки и от тощей кровати проститутки».

«Литература вся празднословие... почти вся...»

«Мне более и более кажется, что все литераторы суть „Бранделясы“».

«Литература есть самый отвратительный вид торга».

А между тем Розанов до конца — до последней интимной подробности быта и туалета — растворен в литературе. Каждое движение, каждый вздох, каждая мысль — непреодолимо выговариваются. Это — тупик, в котором он «с упоением» задыхается. И тут же — опять литература! — подлинное отвращение к писательству

превращается в литературный прием. Обличение привычных и приевшихся нам форм — само становится новой «действенной» формой. Так романтики изобличали лживость классицизма во имя своей новой правды. Эта правда была, конечно, чистейшей фикцией, чем же «Эрнани» правдивее «Сида»? Но в литературе из двух условностей правдивой кажется та, которая действует. Так у Розанова: вовсе не сокрушается литература, а просто один жанр вытесняется другим. То, что раньше прозябало на задворках, выступило в первые ряды. А неряшливость, распушенность, «домашность» и интимность его стилиа совсем не потому, что писано для себя и «ни для кому»: все эти «приемы» эффектно контрастируют с приглаженностью, официальной народностью и «общественностью» нашей признанной литературы. Розанов выходит на улицу в халате и без воротничка; юродство? едва ли: просто всем до смерти надоели воротнички и пиджаки.

Но это — только одна сторона дела — техническая. Новый прием должен быть оправдан и психологически. Мало ли озорничали футуристы в своих желтых кофтах? Из их скандальничанья никакого нового жанра не получилось.

Как же мотивируется у Розанова разрыв со старыми «салонными» и благопристойными жанрами и введение нового жанра, до цинизма субъективного и интимного? (Кухня, детская, спальня). Сопоставим несколько его признаний:

«Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываюсь „В. Розанов“... Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду... В душе я думал: нет, это кончено. Женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего».

Проведя всю свою жизнь на людях, «на площади», в суете редакций и журнальной полемики, юркий, «в припрыжечку», запыхавшийся, с коленцем и ужимкой — Розанов был до того одинок и душевно бездомен, что по сравнению с его «беспочвенностью» — одиночество, например, Толстого, кажется просто красивой фразой. И недаром, он, — невольно думая о своей судьбе, постоянно возвращается к Толстому. Тот — «великий писатель», учитель, проповедник — у него поклонники, ученики: литературная школа и религиозная секта, — а у Розанова — ничего. Толстой — лицом к человечеству, он чего-то «представитель» и «выразитель»: его голос рассчитан на аудиторию, — он говорит об общем, для всех. Розанов — спиной к людям; у себя в углу «чай пьет», бормочет шепотком для себя, только для себя — и все о своем личном, самом интимном, и никому это не нужно и не понятно — да и нет ничего. «Я не нужен; ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен».

Религиозный опыт Толстого «поучителен», ибо представлен в самой общей форме: все индивидуальное в нем устранено, остался человек с большой буквы и совесть в элементарном смысле. А Розанов бунтует, плачет, примиряется и опять восстает против своего Бога, совсем один; а потому Розанов о Толстом: «Он прожил собственно глубоко пошлую жизнь... Никакого страдания, никакого „тернового венца“. Полная пошлость».

И о себе: «Точно я иностранец — во всяком месте, во всяком часе, где бы ни был, когда бы ни был. Все мне чуждо, и какой-то странной, на роду написанной отчужденностью». «Странник, вечный странник и везде только странник». Он до того — тень, до того лишен «земности» (его слова: «зерно», «икра»), воли к жизни; он так «слаб», «бессилен», «изнеможен», что ему необходимо каждый час и каждую минуту «доказывать» себе, что он «есть». Его манера все мысли «выговаривать» и все движения записывать — не эгоцентризм и самовлюбленность, а непрерывная отчаянная борьба со смертью. Нашупывать, осознать: вот моя рука, моя нога — вот мое тело: да, это — я, я — жив. Я — не один дух. «Да просто я не имею формы („*kausa formalis*“ Аристотеля). Какой-то «комочек» или «мочалка»... Я наименее рожденный человек, как бы еще лежу (комком) в утробе матери». Эта бесформенность, туманность оттого, что он «весь — дух, и весь субъект: субъективное действительно к воплощению; лежать «комком» и томиться по плотному, живому, действительному миру; и наконец — быть обращенным только к себе, без надежд выйти «внаружу», прорасти в землю — и мечтать о корнях, о эротических, физиологических истоках жизни. «Рок, судьба». Оторванность влечет Розанова к страстной жажде человеческой связанности, слиянности, соединенности. Любовность, «взаимное милование, ласкание» — и отсюда — пафос семьи, брака, рода; библейское любострастие и чадолубие. Корень, самый корень мира — физиология, пол, деторождение, И тут для него нет грани между «неприличным» и святым. «Связь пола с Богом — большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом, — выступает из того, что все а-сексуалисты обнаруживают себя а-теистами». И это — второе озарение Розанова: отсюда его главные темы, не покидающие его до дня смерти: христианство и юдаизм. Кровно связанный с православием («Около церковных стен») и, как тип сознания, немислимый вне христианства, Розанов, веруя и терзаясь, жестоко борется с Христом (начиная с «Темного Лица» и «Людей лунного света» и вплоть до «Апокалипсиса нашего времени»). «Грех» христианства, «безлюбного и бесполого», покрывшего своей страшной аскетической тенью все зачатия и роды земли, его личный грех. Он сам, Розанов, — «весь дух», обремененный сознанием вины, из-

гнанный из безгрешного Эдема. Вторая тема — юдаизм — великий соблазн, мука-ненависть и любовь — одновременно. «Любящий» Отец — бог Израиля — противопоставлен «безлюбому» Сыну, «благоуханная», земная «Песня Песней» — сухим, моральным притчам Евангелия. И вот мы подходим к противоположному концу: мы начали с «юродства», с бормотания вслух, с литературы, как торга и проституции — таков «черный конец». А «белый»:

«Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном, не в «употребительном» смысле) и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть — священное слово».

И он понимает: все его писательство от чувства «греха», а это чувство — от Бога. В восстании, во вражде, в борьбе с Богом, он, как Иаков — все теснее и теснее сжимает Его в своих объятиях.

«Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего „я“, от славы или известности — слишком мог бы; от счастья, от благополучия — не знаю. Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое „теплое“ для меня».

И конец — Сергиев Посад, примиренная и светлая христианская кончина:

«В конце концов Бог — моя жизнь».

«Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет».

Владимир Соловьев думал о Боге, Толстой учил, Розанов «жил в Боге». И дойдя до «самого тайного» остановимся и вспомним его просьбу.

«Если кто будет любить меня после смерти, пусть об этом промолчит».

Публикация С. Р. Федякина ©

О СОСТОЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА *

Материалы почтовой дискуссии

Г. Н. Скляревская,
доктор филологических наук

Прежде чем ответить на вопросы, необходимо уточнить, что мы понимаем под «состоянием языка»: состояние языковой ли системы (лингвистический феномен), то есть ее устройство на определенном этапе эволюции (структурную целостность, степень открытости/закрытости, способность к саморегуляции, способность к образованию новых элементов и отторжению отживших, способность к взаимодействию элементов и т. д.) или состояние как форму функционирования (социальной феномен) — то, как общество пользуется языком (способно ли общество адекватно выражать мысли на своем языке, каков уровень языковых способностей общества в целом, гармонично ли и естественно функционирует язык или над ним совершается насилие и т. п.). Таким образом, говоря о состоянии языка и подразумевая его плохое состояние, мы должны отдавать себе отчет в том, имеем ли мы в виду поломку языковой системы или неумелое (или даже варварское) обращение с нею общества?

I

Состояние языковой системы современного русского языка, как мне кажется, не должно вызывать тревоги. О плохом состоянии или порче языка можно говорить только, когда язык а) не справляется или плохо справляется со своими функциями (информационной, коммуникативной, номинативной, когнитивной, эстетической) и б) когда наступает эволюционный сбой, когда прекращаются или деформируются обычные языковые процессы: семантического развития, словообразования, номинации и др. Русский язык не утратил своей функциональной состоятельности и активности, а в отношении протекания языковых процессов даже переживает пору особенно интенсивного развития. О жизнеспособности русского языка говорит, в частности, его словообразовательная активность: стоит появиться новой реалии, как вокруг обозначающего ее слова тотчас выстраивается целый лес дериватов (ср.: *перестройка, перестроечный, перестроечник, антиперестроечный, антиперестроечник, доперестроечный* и т. д., ср. громадное гнездо с элементом «видео» и

* Начало см.: Русская речь. 1992. №№ 2—4.

др.). О гибкости и жизнеспособности языковой системы свидетельствует также ее открытость. Приток заимствований в русский язык, принявший в последнее время, кажется, тотальный характер, не должен расцениваться как негативное явление: ведь на дальнейших этапах развития язык неизбежно отторгнет избыточные элементы, те, которые не адаптировались, при этом оставшиеся не засорят, а обогатят наш язык, как уже неоднократно случилось в прошлом. Открытость системы для периферийных лексических средств (жаргонизмов, терминов и др.) также не следует драматизировать: происходит обычное перемещение языковых элементов по оси «центр — периферия», только значительно более интенсивно, чем обычно, что объясняется вполне объективными социальными причинами.

Тревогу должно вызывать, таким образом, не состояние системы языка, а уровень языковых способностей нашего общества — наше массовое косноязычие, производящее впечатление национальной катастрофы. О порче языковой системы свидетельствует насильственное подчинение языка идеологии, что проявляется в семантических подменах, искажении социальных коннотаций, и непосредственной ломке лексем (*вторчермет*, *облсовпроф* и под.). Однако бурные идеологические процессы последнего времени и не утраченная способность нашего языка к саморегулированию оставляют надежду на то, что со временем язык от них освободится.

III

«Древесная» метафора языка требует уточнения. Если представить цикличность состояний, связанную с чередованием времен года, то такая метафора не соотносима с языком, которому не свойственны периодические регулярные изменения. Было бы точнее соотносить жизнь языка с жизнью дерева вне связи с его циклическими преобразованиями, для чего подошел бы образ вечнозеленого дерева. По-видимому, следует отвлечься от стадийности и представить «дерево языка» синхронно, в одном из моментов его жизни. Применительно к современному русскому языку я все-таки вижу здоровое, крепкое дерево с мощным стволом и густой кроной. Многие ветви, правда, обломаны, деформированы, на некоторых видны безобразные наросты, кое-где листья уничтожены вредителями. Но дерево полно соков и энергии.

«Шахматная» метафора языка, как известно, потребовалась Ф. Соссюру для того, чтобы убедительнее продемонстрировать различие между диахронией и синхронией, с одной стороны, и представить синхронное состояние языка как организованную систему знаков, с другой. Для других целей она, мне кажется, не подходит. Нельзя уподобить пользование языком для членения мира и для взаимопонимания пользованию шахматами для игры. Система языковых

знаков и система шахматных фигур и пешек несопоставимы: система языковых знаков неконечна, незамкнута, способна к саморазвитию и саморегулированию, функционирует стихийно, при этом изменение языковой ситуации накапливается во времени и происходит постепенно; шахматная система не обладает указанными свойствами, и изменение ситуации на шахматной доске происходит скачками после каждого хода.

Если трудно соотнести языковую систему с набором шахматных фигур и пешек, то еще труднее уподобить речевую деятельность шахматной партии, поскольку в том и другом случае принципиально разные цели: максимальное сближение партнеров (стремление к взаимопониманию) в первом случае и их противодействие во втором. Можно, впрочем, уподобить шахматной партии спор как вид диалога, но ведь это слишком частный случай речевого общения.

Однако, если все же с известными оговорками принять шахматную метафору языка, то современное состояние языка (ситуация на доске) может характеризоваться тем, что игроки забыли правила игры и разучились делать нужные ходы, что привело к хаотичности и неразберихе.

«Компьютерную» метафору языка я бы истолковала так: перед нами хорошая машина с талантливо разработанной программой, с надежным качеством систем продукции, с достаточным числом элементов. Наше недовольство и возмущение вызывает отвратительная работа оператора, которая приводит к рассогласованности в работе машины.

IV

Из трех способов репрезентации языка неудовлетворение вызывает языковая компетенция его носителей, их неумение производить тексты. Неудовлетворенность текстами носит опосредованный, вторичный характер. Структура языка не вызывает неудовлетворения.

V

Что касается зависимости духовного здоровья нашего общества от усилий филологов-русистов, то этот тезис представляется мне весьма спорным. Я не верю в возможность непосредственного целенаправленного воздействия на язык (в виде правил его употребления, запретов, рекомендаций и т. п.) — они оказывают влияние на ограниченную часть говорящего коллектива и касаются отдельных, изолированных фрагментов языковой системы (акцентологических норм, паронимических различий, функциональной приуроченности, стилистической окраски и т. п.) и едва ли способны изменить языковые тенденции и процессы в целом.

К духовному возрождению общества может привести только общее глобальное возрождение Культуры: культуры семьи, быта, общения на всех уровнях, культуры обращения с природой, земледелия, труда вообще и далее — всех искусств и, наконец, культуры языка и речи (надо сказать, что эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы: возрождение культуры семьи неизбежно повлечет за собой повышение культуры общения и далее — речевую и языковую культуру). Это долгий путь возрождения, но другого у нас, видимо, нет.

Санкт-Петербург

В. Н. Телия,
доктор филологических наук

1. Считаю, что русский язык развивается по своим внешним и внутренним законам разве что чуть интенсивнее, чем в застойное время, но как не вспомнить (точнее — не напомним) нашим парламентским лидерам о сюжете, описанном Б. Шоу в «Пигмалионе»: необходимо овладение нормами языка в высших эшелонах власти. Очевидно, что речь М. С. Горбачева, растиражированная по радио и телевидению, внесла в «массы» (слабо владеющие нормами) партбюрократический жаргон (типа: *определимся, решим, потом примем* — что? — это же беспредметная, нереферентная, искаженная семантически речь!). А жаргоны никогда еще не способствовали подлинно национальному развитию языка.

Считаю необходимым предложить правительству услуги по обучению красноречию! Ибо от него идет «порча» языка.

2. Я употребляю сочетание «состояние русского (или другого) языка», полагая, что язык — динамическая система, а не потому, что это «организм».

3.1. По-моему, современное бытование языка сходно, скорее, с кроной: она опадает, нарастает вновь, а ветви — это то, что сращено со стволом и корнями.

3.2. По поводу этого пункта: поле литературного языка захватила публицистика. И это очень даже неплохо — она же имитирует живую, экспрессивно окрашенную, исполненную страстями речь. А кроме того, мне ближе метафора игры (ср. теория игр вообще).

3.3. Программа заражена вирусом, о котором говорилось в (1).

4. Я считаю, что язык — это прежде всего способность, но она реализуется в текстах, речи и т. п. А вот описание, в том числе и многочисленные пособия по культуре речи, тем более — размышления о ней литераторов — это задача лингвистики. И только лингвисты могут «судить» лингвистов!

5. Я согласна с Вами в том, что и развитие, и «работа» языка связаны с «языковой личностью», живущей в рамках той или иной культуры — как духовной, так и социальной. Филолог не может оздоровить общество, но он может сохранить духовное богатство, аккоммулированное языком (здесь важную роль может сыграть Машинный фонд — все его «пакеты», в том числе — фразеологический).

О. Н. Трубачев,
член-корреспондент РАН

«Вопрос первый: считаете ли Вы, что нынешнее „состояние русского языка“ внушает такую же тревогу, как и перечисленные выше другие „состояния“ (выше перечислены экономика, среда, душа, физиология.— О. Т.)...?»

Ответ: Нет, не считаю. Язык отражает внеязыковую действительность преломлённо. Оскудение последней в целом не грозит языку, наоборот, вызывает в нем диаметрально противоположное явление (в своей основе — болезненное, но это в большей степени болезнь не языка, а внеязыковой действительности). Я имею в виду тенденцию терминологической избыточности, например *консенсус* и *согласие* (и это в тот момент, когда в реальной жизни наблюдается, пожалуй, рекордный минимум согласия на всех уровнях); далее, не только *рынок*, *законы рынка*, но теперь еще и *маркетинг* (и это тогда, когда реального рынка еще нет). Совсем недавно и тоже — без реальной надобности появился *рейтинг*, хотя великолепно можно было обойтись прежними средствами выражения *популярности/непопулярности* и оценки положения обществом. Засорение поражает не язык, а отдельные идиолекты (ср. возросшую нецензурность русской речи отдельных авторов и печатных изданий, например журнала «Огонёк»).

Замечу также, что, вопреки удивительно живучему (в том числе и в науке) предубеждению, бурные эпохи общественного развития («перестройка») вовсе не обязательно сопровождаются ломкой, перестройкой языка, а скорее даже наоборот: бурность и неустойчивость реальной жизни как бы компенсируется устойчивостью, которую обнаруживает язык именно в эти подвижные эпохи, в чем следует видеть подтверждение тургеневской формулы (язык — «надежда и опора»... «при виде того, что совершается дома»). В остальном, сути языка это не затрагивает, катастрофы за собой не влечет.

Дальнейшие вопросы (и в целом — разделы) трактуют о метафорах языка и метафорах о языке. Живая речь немислима без метафоры, в сущности весь наш язык метафоричен (ср. книгу Пола Фридриха о параллаксе языка). Научная терминология как продолжение народной тоже поневоле наделена метафоричностью. Вме-

сте с тем метафоры присуще преувеличению; научный взгляд призван сознавать это и по возможности преодолевать. Научные приравнивания языка (1) к дереву, (2) к самодовлеющей равновесной системе, (3) к самопорождающему орудью — все суть метафоры и как таковые односторонни, а следовательно, недостаточны, будучи взяты порознь. Нужен широкий, интегрированный подход, наподобие того, который утверждается в сравнительном языкознании (внешнее сравнение + внутренняя реконструкция + типология). Общее пожелание: не драматизировать «состояние языка» (ввиду как раз завидной его устойчивости); акцентировать значение филологии и филологов.

Г. А. Хабургаев,
доктор филологических наук

Со времени сложения цивилизации общество постоянно «недовольно» своим... языком (см. п. I. Вашего текста); но постановку вопроса о «состоянии языка» я считаю непрофессиональной. Решаюсь сказать об этом, так как подозреваю, что и Вы так думаете, если судить по самому последнему абзацу Вашего текста, где ставится вопрос: не является ли «беспокойство» общества о языке отражением общего состояния культуры? — Да! Именно так: все те «тревоги», о которых можно прочитать или услышать из уст самых различных деятелей, непрофессионально пекущихся о языке, исходят из полного филологического невежества современного общества (кстати сказать, не только нашего: то же свойственно в век НТР и обществности других развитых стран).

Все мы хорошо знаем и должны считаться с тем, что выпускник полной средней школы (следовательно, вся сплошь интеллигенция, кроме профессиональных филологов!) понятия не имеет о том, что такое язык, и по сути дела не подозревает о существовании такой науки, как языкознание, и о том, чем она занимается... Преподавание «родного языка» (в нашем случае — русского) целиком сводится к заучиванию правил письма, а иностранного — к практическому овладению им (говорю не о качестве, а о направлении и содержании преподавания). Нужна целенаправленная просветительская работа: не просто «выход на публику», но продуманная программа лингвистического просвещения. Общество должно иметь доступные, но при этом вполне научные представления о языке, о его устройстве, функционировании и истории — не слов (!), как это делается в популярных печатных изданиях и телепередачах, и языка вообще и языка родного, в частности. В том числе и о взаимоотношениях языка и этноса.

Что касается профессионалов, то здесь тоже есть момент, мешающий движению вперед, он отражен в пп. III и IV Вашего текста.

Теоретическое языкознание до сих пор не осознало, что имеет дело не с одним, а с двумя онтологически неоднородными (хотя исторически и взаимосвязанными) объектами изучения и описания. Один из них — звучащий (!) язык как средство повседневного общения, который «корнями уходит в далекое прошлое». Именно он рождается вместе с человеческим обществом, обеспечивает его деятельность и характеризуется непрерывностью во времени и пространстве, находясь в постоянном движении, и в своем функционировании и развитии остается безразличным к социальным процессам, всегда при этом соответствуя уровню развития общества.

Другой объект — литературный язык как орудие цивилизации, возникающий на базе письменности (обеспечивающий его существование!) вместе с государственными объединениями (и не ранее!). В отличие от языка повседневного общения литературный язык стремится к стабильности на оси времени (ибо только так может быть обеспечена преемственность культурной традиции) и лишь непрерывно пополняет свой словарный состав.

Литературный язык устроен по модели языка повседневного общения, а в условиях развитого национального самосознания он к тому же ориентируется в своих нормах на систему языка повседневного общения и, будучи «на виду», по удачному выражению Ф. де Соссюра, «заслоняет его от нас». Когда мы говорим «русский язык» (без уточнений), мы имеем в виду и всю совокупность текстов на литературном языке (и на его диалектах!), и «сделанные специалистами научные описания» — не только литературного русского языка, но и его диалектов, и то «неуловимое, существующее в голове каждого носителя» (и т. д.) знание языка повседневного общения, которое усвоено носителем примерно к двум годам жизни и не только обеспечивает возможность пользоваться им, но и возможность усвоения построенной по его модели системы литературного языка. нормы которого кто-то усваивает лучше, а кто-то — хуже. Именно это последнее нас и не удовлетворяет.

Программа — 1) для профессионалов: осознание необходимости четкой дифференциации двух объектов лингвистики и изучение их взаимоотношений в разные периоды истории (специально — на современном этапе), без чего эффективное и практически целесообразное «лингвистическое просвещение» общества немислимо;

2) для общества: организация широкого «ликбеза» в области языкознания (см. выше), а не только «культуры речи», которая останется механическим набором изолированных друг от друга сведений, пока в сознании каждого носителя языка не сформируются четкие представления о том, что такое язык, из чего он состоит, как он живет и развивается.

И ВСЕ-ТАКИ ПЯТИГОРЦЫ, А НЕ ПЯТИГОРЧАНЕ!

Л. П. КАТЛИНСКАЯ,
доктор филологических наук

Споры о том, как лучше назвать жителей того или иного города, продолжаются, и в образовании таких наименований царит разнობой. В последнее время с легкой руки журналистов приобрели популярность названия жителей с суффиксом *-чанин*. Если, например, Словарь названий жителей СССР (М., 1975) фиксирует в своих материалах два варианта, то можно не сомневаться, что ратники средств массовой информации непременно выберут форму на *-(ч)а-нин*, хотя в самом Словаре отнюдь не всегда этой форме отводится первое место: на языке словарников расположение вариантов означает их оценку по степени употребительности. Сомнительно, правда, что журналисты в каждом спорном случае сверяются с данными словарей вообще, и Словаря названий жителей в частности. Скорее всего они полагаются на свое собственное разумение, и результатом его оказывается весьма модное сегодня пристрастие к именам типа *белгородчане* на месте давних и привычных *белгородцы*.

Всякие новые веяния в процессах словоупотребления требуют к себе внимания со стороны лингвистов, тем более, что далеко не всегда какой-то речевой стереотип, ставший вдруг особенно популярным, находится в согласии с объективными закономерностями языка. Обычно диссонанс быстрее улавливают рядовые носители, проявляя вкус и языковое чутье зачастую в гораздо большей степени, чем профессионалы публичного жанра.

В редакцию журнала регулярно приходят письма от простых смертных, которые противятся натиску извне и «ищут защиты» у специалистов. В письмах обыкновенно содержатся два мотива. Во-первых, интуитивное ощущение, что под воздействием силы, действующей в обход и вопреки устоявшейся норме, нарушается традиция, и, во-вторых, настойчивое желание называться по-старому, например, *ставропольцы*, а не *ставропольчане*.

Вот выдержка из письма: «Мы, жители Ставрополя, многие годы назывались ставропольцами. Это такое наше „имя“ употреблялось везде: в разговоре, в печати, в передачах по телевидению и радио.

А вот года два—три тому назад оно как-то „ползуче“ стало заменяться словом „ставропольчане“».

Именно вследствие того, что новая форма слова возникает не естественно, а как бы навязывается, никак не удастся избежать разноречия в словоупотреблении, что, конечно, особенно раздражает всех тех, кто с таким разноречием сталкивается. Жители того же Ставрополя не без ехидства замечают, что один день они — *ставропольцы*, а другой — *ставропольчане*. «Дело доходит до того, — пишут они, — что всевозможные рекламы, стенды и даже призывы на одной улице обращены к „ставропольцам“, на другой улице или в другом издании — к „ставропольчанам“».

Еще один существенный мотив неприятия форм на *-чанин* — это производительное «неудобство». Об этой стороне дела не однажды высказывались и филологи, и писатели. В письмах же с грустью вспоминаются обычные в 30-е, 40-е годы *свердловцы*, *кировцы*, *самарцы*, замененные сегодня *свердловчанами*, *кировчанами* и т. д. Еще недавно над жителями бывшего Куйбышева нависала угроза называться *куйбышевчане*, о чем они прямо говорили: «язык сломаешь».

Итак, общественное мнение вполне определенно склоняется к оценке производных на *-чанин* как нежелательных. Цель настоящей статьи — подтвердить правомерность этой оценки, поскольку она в полной мере отражает объективную «расстановку сил» в столкновении вариантных форм в именах лиц по месту жительства. Другими словами, задача автора в том, чтобы показать, что общественное мнение в данном случае никак нельзя считать случайным или субъективным.

Прямое и бесспорное свидетельство его объективности — статистическое соотношение названий жителей на *-ец* и *-анин* (все прочие вариации таких названий, например, *бакинец*, *пензенец*, *устюжанин*, *киевлянин*, *ельчанин* — суть те же суффиксы, но видоизмененные в зависимости от фонетических условий внутри слова). Материалы названного Словаря со всей определенностью подтверждают несравненно большую устойчивость позиций модели на *-ец*. В качестве иллюстрации приведем подсчеты по буквам *А* и *Б*. Здесь расклад такой: 230 производных на *-ец* к 19 на *-анин* по первой букве, и 216 к 16 — по второй. То есть, доля производных на *-анин* по обеим буквам не превышает десятипроцентной отметки. При этом у большей части слов на *-анин* есть вариант на *-ец* и первые часто снабжены пометой *устар.*, как, например, *брестяне* от *Брест*, *брянчане* от *Брянск*, *белоозеряне* от *Белое Озеро* и др.

О значительном количественном перевесе в пользу суффикса *-ец* свидетельствуют и наши непосредственные наблюдения, не нуждающиеся в словарной поддержке. Достаточно вспомнить имена

живущих в столицах (теперь уже бывших) союзных и автономных республик: *алмаатинцы, ашхабадцы, бакинцы, батумцы, бешкекцы* (в прошлом *фрунзенцы*), *вильнюсцы, владикавказцы* (в прошлом *орджоникидзены*), *душанбинцы, ереванцы, казанцы, нахичеванцы, нукусцы, таллинцы, тбилисцы, тувинцы, уфимцы* и т. д.

Такова статистика — главная опора традиции, равно как и ее отражение. Что же можно сказать о тех собственно языковых причинах, под воздействием которых эта традиция сложилась?

Решающим фактором, по нашему глубокому убеждению, оказалось н о м и н а т и в н о е преимущество модели на *-ец*. Что имеется в виду в данном случае?

Дело в том, что в модели на *-ец* смысловая связь между именем собственным, называющим место жительства, и производным названием группы лиц соответственно месту их проживания получает прямое, непосредственное выражение, не «обремененное» никакими сопровождающими оттенками смысла. Г. О. Винокур в известной статье «Заметки по русскому словообразованию» (Известия АН СССР, серия литературы и языка. 1946. Т. V. Вып. 4) называл такого рода связи «принудительными» и причислял к ним, в частности, лексико-словообразовательные отношения типа *голландец—голландка при Голландия и китаец—китаянка—Китай*.

Не пояснив, что значит «принудительная» связь, Г. О. Винокур, по всей видимости, считал это само собой понятным, но если попытаться все же раскрыть понятие, то его содержание, на наш взгляд, может быть охарактеризовано следующим образом.

Все топонимические названия типа Китай, Голландия, а также любое название административного центра в нашем сознании неразрывно связаны с представлением о населяющих эти места людях. Иначе говоря, названия мест проживания (или обитания, о чем будет сказано особо) можно в частном случае рассматривать как имя некоторой части социума, по отношению к которому производные личные наименования е с т е с т в е н н о мыслятся как составляющие данного социума. Для характеристики фактов словопроизводства это означает, что наличие в языке первичных смыслов в виде топонимов вообще или названий городов (сел, деревень и т. д.) в частности необходимо предполагает обязательное (принудительное) соотнесение этих первичных смыслов с вторичными по отношению к ним именами лиц.

Рассуждая таким образом, мы находим в языке полную лексико-словообразовательную аналогию топонимическим связям в отношениях типа *ЗИЛ → зиловцы, ВАЗ → вазовцы, БАМ → бамовцы, местком → месткомовцы* и т. п. В частной функции наименования социума здесь выступают аббревиатуры или сложносокращенные слова, являющиеся официальными названиями учреждений, объек-

тов хозяйственной и другой деятельности общества. Вряд ли может быть оспорено утверждение, что нет никакой принципиальной разницы в функционально-словообразовательном плане между первичными топонимическими смыслами и большей частью аббревиатурных наименований, если их рассматривать в частной функции имени собственного для соответствующей группировки социума. Для нас важно в данном случае то, что в обобщенном виде семантико-словообразовательная связь типа *имя собственное* → *производное имя лица* получает регулярное оформление по модели на *-ец*. Как некая общая схема лексико-словообразовательных взаимодействий этот вид связи включает также факты словопроизводства вторичных названий лиц, мотивированных именами или фамилиями личностей, занимающих определенное место в истории общества: *горбачевцы, ельцинцы, стахановцы, сытинцы, чапаевцы* и т. п.

Нетрудно видеть, что связи типа *Ленинград—ленинградцы, ЛЭП—лэповцы, Панфилов—панфиловцы* и т. д. исключают возможность привнесения в семантико-словообразовательные отношения каких-либо ассоциаций оценочного свойства. Вследствие этого все производные на *-ец* от имен собственных, в том числе и названия жителей, закреплены за официально-деловым стилем речи в первую очередь.

Иное дело модель на *-анин*. Насколько можно судить, охватившая сегодня средства массовой информации и «наглядной агитации» повальная мода на этот суффикс спровоцирована его не строгой номинативностью, а именно присущим модели оттенком эмоциональности. Не случайно, например академик Д. Н. Шмелев оценивает не так давно появившееся в русском языке слово *заводчане* как экспрессивный окказионализм. (См. об этом: Способы номинации в современном русском языке. М., 1982. С. 15—16). Нам, однако, не кажется справедливой оценка Д. Н. Шмелева именно данного слова, поскольку, по нашему мнению, эмоциональность есть свойство модели в целом, что мы попытаемся показать.

Известно, что многие старые имена на *-анин*, такие как *киевляне, москвитяне, куряне* и др., соотносительны с названиями не городов, а владений русских князей; сравните также *римляне, вавилоняне, афшяне* и т. п. Значит, закрепленные как названия социальной общности, объединенной единством государственной территории, производные с суффиксом *-анин* по своим функциональным свойствам гораздо ближе к этнонимам в собственном смысле, чем производные на *-ец*. Исконно этническим суффиксом *-анин* считал исследователь исторического аспекта русского словообразования В. Кипарский. (См. об этом: Kiparsky V. Russische historische Grammatik. Band III. Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975. S. 187). О том же свидетельствуют старые русские названия многих нацио-

нальностей: *россияне, малороссияне, латиняне, англичане, датчане, персияне* и др.

Второе важное отличие суффикса *-анин* (в сравнении с *-ец*) определяется его исконными диминутивными (отыменными) связями [вариант *-чанин* автор квалифицирует как производный от диминутивов на *-ыць, -ыце: дворчанин* (от *дворыц*), *сельчанин* (от *сельце*). Там же], что в итоге привело к образованию таких слов, как *островитяне, горожане, селяне* (и *сельчане*), *хуторяне, заводчане* (нов.). Следовательно, по данной модели образуются имена лиц, соотносительные не только с первичными именами собственными, но и с нарицательными, называющими некоторую территорию (и не только территорию: ср. *заводчане*).

Особенность содержательной характеристики модели на *-(ч)анин* состоит в том, что для нее специфическим свойством оказывается соотносительность производного имени с понятием *м е с т а о б и т а н и я* некоего социума, а не просто с названием места жительства. Здесь, как нам кажется, и сосредоточен тот заряд эмоциональности, который несет в себе модель в целом.

Лексико-словообразовательные отношения по схеме *территория → имя обитателя территории* открыты для ассоциаций, навеянных издревле сложившимся в русском языке поэтическим ореолом слова «земля» как понятия родины, родного края, дома. Налет поэтичности, по всей видимости, придает номинациям на *-(ч)анин* особую притягательность. Стремление «застолбить» своеобразную, отличную от общей административно-нейтральной массы названий жителей на *-ец* форму вторичного имени с субъективной точки зрения вполне объяснимо.

Между тем объективно, т. е. с собственно языковой точки зрения, соотносительность производных на *-анин* с именами собственными, называющими не естественно-природную территорию, а ее административно-хозяйственные участки (города, деревни, села, области, районы и т. п.), не может рассматриваться как *т и п и ч н а я* (=системно-функциональная) характеристика данного словообразовательного образца.

С другой стороны, системно обусловленными являются номинации *марсиане* (в словарях), *земляне* (новое) и *лебедяне* (не отмеченное словарями название гипотетических обитателей планеты из созвездия «Лебедь» в научно-популярном фильме «Тайна») и другие подобные названия, вызванные к жизни космическими устремлениями человека наших дней.

Примечательно, что во всех подобного рода производных невозможны (или неестественны) любые другие суффиксы имен лиц. Поэтому без риска ошибиться можно было предсказать, что среди стихийно возникших вначале вариантов *инопланетчик, инопланет-*

ник, инопланетец и инопланетянин победителем выйдет последний. Так оно и произошло.

Приведенные аргументы представляются нам достаточными для того, чтобы подтвердить незыблемость позиций модели на -ец при образовании названий жителей всяческих административных образований, как уже существующих на территории нашей страны, так и постоянно возникающих.

Что касается модели на -анин, то разумной видится оценка ее как факультативной в именах лиц по месту их проживания. Факультативность, так сказать, вспомогательность словообразовательного средства выявляется прежде всего в тех довольно редких случаях, когда присоединению суффикса -ец к производящей основе препятствуют ее структурные особенности. Например, только по модели на -анин (с соответствующими чередованиями конечного согласного основы перед суффиксом) образуются названия жителей от имен собственных на -ец, -ца, -цы, -цк: *череповчане* (Череповец), *винничане* (Винница), *клинчане* (Клинцы), *белоречане* (Белорецк) и т. п. Так же оформляются производные от названий на -чи, -ич, -ач, -чик: *думиничане* (Думиничи), *галичане* (Галич), *киржачане* (Киржач), *нальчане* (Нальчик) и т. п., хотя для двух последних не исключен вариант на -ец: ср. в Словаре названий жителей *киржачцы*, *нальчикцы*. Подробнее о структурных особенностях основ, для которых взаимодействие с суффиксом -анин выглядит предпочтительнее по формальным причинам, можно прочесть в книге «Грамматическая правильность русской речи» (Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. М., 1976. С. 285—294).

Вместе с тем надо заметить, что и по своим семантико-структурным свойствам административные названия в своем подавляющем большинстве свободно взаимодействуют с суффиксом -ец, но не -анин. Взять, к примеру, такой мощный пласт среди названий населенных пунктов, как антропонимы. От названий типа *Артем*, *Чкалов*, *Чехов*, *Борисоглебск*, *Чайковский* (город и район) и т. п. имена жителей естественны только на -ец. Согласитесь, что новомодные *ногинчане* (Ногинск), *загорчане* (Загорск) чересчур высокопарны, а какие-нибудь *чеховчане* или *чкаловчане* просто нелепы.

Нарочитость, искусственность поползновений журналистов заменить традиционные названия *житомирцы*, *кисловодцы*, *пятигорцы* и т. п. на *житомиряне*, *кисловодчане* и т. д. нет-нет да и скажутся незначай в их собственном словоупотреблении. Так, в одной и той же публикации рядом с «красивым» *белгородчане* через несколько строк встречаем скромное и привычное *белгородцы* (Известия. 1990. 2 янв.), или два разных имени — *петрозаводцы* и *петрозаводчане* — звучат в одной и той же передаче радиостанции

«Маяк» (1990. 4 окт.), при этом первый вариант использует комментатор радиостанции, а второй — местный журналист.

В «защиту» суффикса *-(ч)анин* неоднократно высказывалось мнение, что это словообразовательное средство поддерживается тенденцией к специализации суффиксов. Такого мнения придерживаются и некоторые известные русисты, например, Д. Н. Шмелев и В. П. Григорьев. Нам, однако, кажется, что роль этой тенденции сильно преувеличена. Ведь в реальных языковых процессах гораздо больше фактов, которые не только не подчиняются этой тенденции, но прямо ей противоречат. Как слабосильно должно быть тяготение к специализации словообразовательных средств, если полифункциональность большинства русских суффиксов — неоспоримый языковой факт! С другой стороны, как можно согласовать эту тенденцию с красочной пестротой суффиксов в старых русских именах жителей: ср. *москвич, одессит, пермяк, псковитин, тверитин* и др.?

Противоречат тенденции к специализации и такие факты, как разные лексические значения у одного и того же производного. Скажем, у наименования *челюскинцы* словари отмечают три значения: 1) члены экспедиции, возглавляемой С. И. Челюскиным; 2) экипаж парохода «Челюскин»; 3) жители мыса Челюскина. У названия *стахановцы* — два значения: 1) ударники труда (восходящее, как известно, к имени собственному Стаханов); 2) жители г. Стаханова. В контексте всегда ясно, какой конкретный смысл передает производное слово в каждом отдельном случае, несмотря на одинаковость формы.

Еще один распространенный аргумент в пользу суффикса *-(ч)анин* — затруднительность в ряде случаев образования женской параллели при мужском роде с окончанием *-ец*. Действительно, имен жителей на *-ец*, женская параллель к которым неблагозвучна или нежелательна из-за неуместных ассоциаций (например, *кисловодка, кромка* от Кромы), не так уж мало. Но вряд ли это меняет что-либо по существу.

Дело в том, что *п е р в и ч н а я* семантическая функция названий жителей предписана множественному, но не единственному числу (прежде уже говорилось, что это наименование некоторой социальной общности). Указание на эту особенность имен жителей находим еще у Куриловича в его работе «Положение имени собственного в языке». Здесь, ссылаясь на мнение Э. Коссериу и соглашаясь с ним, автор замечает, что слова типа «мидийцы» не имеют единственного числа, если они выступают в функции, аналогичной этнонимам. Отметим в связи с этим, что словарная традиция подачи таких производных в единственном числе мужского рода нуждается, по-видимому, в пересмотре.

Вместе с тем благозвучность—неблагозвучность — вполне субъективная оценка и может касаться слова только в его «штучном исполнении». А. А. Ахматова, как вспоминают современники, с гордостью называла себя *царскоселкой*, нимало не заботясь о «благозвучности» такого слова.

Вообще всякого рода привходящие обстоятельства выбора нетрадиционного облика слова, в том числе и субъективные пристрастия, в принципе не исключаются. Но при выработке нормативных рекомендаций относительно предпочтительности одной из двух возможных форм словоупотребления решающим должен быть критерий внутриязыковых взаимодействий и закономерностей.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Родственны ли по происхождению и значению слова *Подол*, *Подольск*, *Подольское*?»

З. В. Молчанова, Санкт-Петербург

Да, топонимы *Подол*, *Подольск*, *Подольское* восходят к одному русскому слову *подол* — равнина, предгорье, подгорье, терраса, пойма, надпойменная терраса, подошва горы. Оно образовано с помощью префикса *по-* от слова *дол*, которое в русском языке значит «низ», «низменность», «яма», «ров», «могила», в русских диалектах — «пол», «земля», «низ», «болотистый исток реки», «овраг».

В Ярославской и Смоленской областях подолом издавна называли всякое низкое место, низменность, мочажину (Словарь В. И. Даля). В Воронежской области подол — «открытая безлесная равнина на пойме реки», на юге нашей страны — «дно оврагов и балок, где выклиниваются ключи или заложены колодцы» (Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., 1984).

В древнерусском языке слово *подоль* имело значение «долина», «подгорье, низменность по берегу реки», «подгорная часть города». Отсюда, видимо, *Подол* в Киеве (низкая терраса у самого Днепра), *Подольск* в Московской области, первоначально село Подол-Пахра (низменное место).

*Наши консультации***Англоязычный,
франкоязычный,
русскоязычный
и другие**

Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

Читатель спрашивает, как образовано слово *русскоязычный* и что оно означает. Если обратимся к словарям, то лишь «Орфографический словарь» приводит это слово в своем 29-м (исправленном и дополненном) издании (1991 г.). Отмечено и слово *франкоязычный*. Иных слов этого типа в «Орфографическом словаре» нет. А в предшествующих его изданиях не было и этих двух.

Наиболее благоприятно складывались отношения с лексикографией у слова *франкоязычный*. В словаре-справочнике «Новые слова и значения» (М., 1971) находим: «Франкоязычный. Имеющий французский язык в качестве государственного языка (главным образом о странах Африки — бывших французских и бельгийских колониях)». Это толкование проиллюстрировано примерами: «... состоялась конференция, в которой приняли участие делегаты большинства франкоязычных стран Тропической Африки и Мадагаскара» (За рубежом. 1965. № 8); «Франкоязычная Африка» (там же, 1966. № 10); «... на конкурсе в Париже состязались кинематографисты Франции и франкоязычной Африки» (Лит. газета. 1968. № 23).

В 1984 году вышел продолживший дело словаря-справочника «Новые слова и значения» 1971 г. словарь-справочник с тем же названием. И в нём фиксируется слово *франкоговорящий*, которое поясняется так: «говорящий на французском языке; имеющий французский язык в качестве государственного; франкоязычный»: «франкоговорящие страны» (За рубежом. 1967. № 5); «франкоязычные валлоны (валлоны и фламандцы — два этноса, составляющие население Бельгии.— Э. Х.)» (Новое время. 1974. № 13); «франкоговорящая часть Швейцарии» (Советский экран. 1974. № 17); «франкоговорящие канадцы» (Правда. 1977. 10 мая).

Как видим, *франкоязычный* и *франкоговорящий* рассматриваются словарем-справочником как синонимы. Отмечу, что пояснение 1984

года представляется более точным, чем данное за 13 лет до этого. Интересно, что в промежутке между 1971 и 1984 годом успело выйти 2-е, исправленное и дополненное, издание четырехтомного «Словаря русского языка», однако в нем, как и в 1-м, нет *франкоязычного*, не говоря уже о *франкоговорящем*, *англоязычном* и т. п.

А между тем эти слова были замечены академической «Русской грамматикой» (М., 1980. т. I). И вот что там сказано о них в разделе, посвященном словообразованию. Слова типа *франкоязычный* — сложно-суффиксальные, опорный компонент которых содержит основу существительного с предшествующими ей усеченными основами прилагательных — названий народов: *английский*, *германский*, *итальянский* и т. д. Это лингвистические термины «с опорной основой существительного язык: *англоязычный*, *италоязычный*, *германоязычный*; *французский* — *франкоязычный* с чередованием *ц* — *к*» (с. 323). Авторы раздела формулируют общее всем словам этого типа словообразовательное значение: «относящийся к тому или характеризующийся тем, что названо опорной основой и конкретизировано в первой основе сложения» (там же).

Не оставила без внимания «Русская грамматика» и слова типа *германоговорящий*. О них написано, что это сложные прилагательные с опорным компонентом, равным самостоятельному слову (в виде действительного или страдательного причастия): *угледобывающий*, *водонепроницаемый*. В этих прилагательных отношения между компонентами подчинительные: компонент, предшествующий опорному, носит «уточнительный характер, конкретизирует содержание опорного компонента» (с. 319).

Прошло 10 лет, и в 21-м, исправленном и дополненном, издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова появляются две новые статьи: «Англо... и Англо-». Первая часть сложных слов со знач. *английский*, напр., *англоязычный*, *англо-русский*, *англо-германский*, *англоговорящий* (о странах с населением, говорящем на английском языке), «Франко... и Франко-». Первая часть сложных слов со знач. *французский*, по-французски, напр., *франкоговорящий*, *франкоязычный*, *франко-русский*».

Таким образом, во-первых, *англоязычный*, *франкоязычный* и т. п. созданы (как и их синонимы *англоговорящий*, *франкоговорящий* и т. д.) по моделям словосложения, известным русскому словообразованию; во-вторых, эти прилагательные не имеют экспрессивно-эмоциональной окраски, не выражают оценочных понятий, стилистически нейтральны; в-третьих, возникнув как термины ряда научных дисциплин (лингвистики, этнографии, социологии), они стали в последнее время достоянием общей речи. Их появление в

роли терминов вызвано потребностью точности и разумной краткости научной речи.

Узбек Алишер Навои писал и на фарси (персидском). Значит, часть его творчества была персидскоязычной. О нем сказано в «Советском Энциклопедическом Словаре» (М., 1979): «оказал влияние на развитие других тюркоязычных литератур». Слово *тюркоязычные* дает возможность не перечислять литературы. Киргизский писатель Чингиз Айтматов — киргизскоязычный и русскоязычный автор, а Леопольд Сенгор — сенегальский франкоязычный мыслитель и поэт. Знаменитая «Похвала глупости» написана нидерландцем Эразмом Роттердамским на латинском языке. Он латиноязычный автор. Джонатан Свифт и Бернард Шоу были ирландцы, однако писатели они не только англоязычные, но и английские, так как творили в английской литературе, представляли в мировой культуре английскую культуру. Проживший долгие годы в Узбекистане Сергей Бородин был не только русскоязычным автором, но и русским писателем.

Языковой признак автора может не совпадать с его национальной принадлежностью и как писателя и как человека.

Если бы Де Голль, будучи в Канаде с официальным визитом, воскликнул: «Да здравствует франкоязычный Квебек!», это вряд ли бы вызвало неудовольствие в официальных кругах этого государства. Но он сказал: «Да здравствует французский Квебек!» А это уже нечто иное.

Точен профессор Ю. С. Маслов, когда называет Квебек «франкоязычной частью Канады» (Введение в языкознание. М., 1987. С. 19). Ср. также: «... доводы сепаратистов в пользу отделения франкоязычной провинции Квебек» (Известия. 1991. 2 дек.); В «Известиях» (1991. 3 дек.) сообщается о прекращении выхода «старейшей финскоязычной газеты» в Финляндии. Это точно, потому что там есть и шведскоязычные издания.

Не каждый писатель, пишущий по-испански, (например, Габриель Гарсиа Маркес) испанский, но каждый из них испаноязычный. То же самое с пишущими на английском, французском, португальском.

Все, что было сказано о терминах *англоязычный*, *франкоязычный*, *англоговорящий*, *франкоговорящий* и т. д., можно повторить и о терминах *русскоязычный*, *русскоговорящий*.

Протестуя против непомерного повышения цен на выпуск и распространение периодики, главные редакторы нескольких журналов пишут, что речь идет об интересах десятков миллионов читателей «не только в России, но и о русскоязычном населении на всей территории бывшего Союза» (Комс. правда. 1991. 18 дек.). Здесь имеются в виду все, кто читает на русском, безотносительно к

национальности: «... 92,87% жителей на 2/3 русскоговорящего Киева проголосовали за независимость Украины» (Аргументы и факты. 1991. № 49). Русскоговорящие на Украине — это не только русские, но и украинцы, евреи, армяне, греки и другие. Русскоязычные в Прибалтике не обязательно русские. И то же самое в Молдове. В многонациональной армии (как совокупности вооруженных сил государства) невозможно обучать солдат, командовать, проводить учения и их разборки, писать уставы на десятках языков. Поэтому и царская армия, и Красная Армия, и Советская Армия были русскоязычными.

Видимо, термины типа *франкоязычный* многозначны:

1) о государстве или группе государств, большинство населения которых употребляет данный язык как родной (например, *англоязычные государства*), и(или) для которых данный язык государственный;

2) о части государства, население которой употребляет данный язык как родной (например, *франкоязычные кантоны Швейцарии*);

3) о народе или народах, говорящих на данном языке или на родственных языках, на языках одной языковой семьи (например, *тюркоязычные народы*);

4) о мононациональной или разннонациональной общности людей внутри государства, объединяемой по признаку владения данным языком как родным, в отличие от большинства населения (например, *русскоязычные жители Литвы*);

5) о человеке, творящем на данном языке (например, Габриель Гарсиа Маркес — *испаноязычный автор*);

6) о письменных текстах на данном языке (например, *персидскоязычная лирика Алишера Навои*).

Некоторые литераторы демонстративно, нарочито называют Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Булата Окуджаву русскоязычными писателями, выражая этим свое нежелание считать их русскими писателями. Да, это русскоязычные авторы, но они же и русские писатели — их творчество вписано в контекст русской истории и культуры. Ведь называем же мы полудатчанина-полунемца Владимира Даля русским лексикографом, еврея Льва Шестова — русским философом, а грузина Петра Багратиона — русским полководцем.

Язык прессы

НЕ ВЫРУБИЦЬ ТОПОРОМ

О заголовках в «Комсомольской правде»

М. А. БОБУНОВА,
кандидат филологических наук

Каждому читателю, несомненно, и лестно и приятно наблюдать, как на страницах газет разворачивается борьба за его, читательское, внимание и интерес. При этом главным оружием, как правило, становится газетный заголовок: броский, интригующий. Не случайно теоретики средств массовой информации говорят даже об искусстве газетного заголовка, классифицируют «заголовочные» приемы и методы. На наш взгляд, в каждом издании существует особый набор таких — излюбленных — приемов. Обратимся к заголовкам газеты «Комсомольская правда» (период 1991 г.). На фоне многочисленных способов привлечения языковых средств для оживления заголовка здесь особенно часто и эффективно используется прием обновления устойчивых сочетаний путем их трансформации.

В этих целях используются названия книг (*Выступление и наказание; Нетихий Дон; Батальоны просят жилья; Хождение за три поля*), статей (*Детский бунт как зеркало нашей революции; Лучше меньше, да больше*), фильмов (*Броненосцы в потемках; ТСН исчезает в полдень; Полеты во сне и наяву; Высокий блондин — в русских лаптях?; Будьте моим... шахтером!; И нефть смывает все следы*), строки из известных стихотворений и популярных песен (*Ребята, не Уфа ль за нами; Люблю хоккей в начале мая; Сажу без решетки в светлице сухой; Кто в газете всех милее; Конгресс, не гони лошадей; Валюта строит и жить помогает; Бери «Шанель» — иди домой; Чтоб измором взять Приморье?; Едут, едут в Нидерланды наши мужики*); лозунги (*В вытрезвитель, как на праздник; За Родину или за Сталина?*).

Важнейшим конструктивным принципом языка газеты является сочетание стандарта и экспрессии (В. Г. Костомаров). И как нельзя лучше для реализации этого принципа подходят фразеологические обороты, «крылатые» слова и выражения. Они лаконичны, вырази-

тельны, образны. В обычной речи фразеологизмы отличаются постоянством состава и значения, но в той или иной степени становятся привычными, поэтому журналисты пытаются вернуть фразеологизму образность, освежить его, используя для этого различные приемы.

Первый тип — полное или частичное изменение лексического состава при сохранении общего значения фразеологизма — дает наибольшие возможности для творчества. Здесь можно наметить несколько подходов. Наиболее распространенный прием — частичная замена слов во фразеологизме: *Земля раздора; Гранаты в мешке не утаишь; Не «Спрутом» единым; С кетменем за пазухой; Своя корзина не тянет; Гадание на хоккейной гуще; Любви все должности покорны; Бойтесь военных, дары провозящих; Кое-что человеческое нам не чуждо; Слово — не лошадь, выскочит — не поймаешь.*

В большинстве случаев в качестве замены используется слово, по смыслу никак не связанное с замененным компонентом фразеологизма, но позволяющее перебросить «мостик» от заголовка к содержанию материала.

Другой прием связан с расширением фразеологизма. В этом случае лексический состав фразеологизма полностью сохраняется, но журналист вводит в него дополнительные слова: *Хорошо там, где нас пока нет; Рижский бальзам на раны социализма; Кто ищет мафию, тот всегда найдет.*

Особый интерес представляют заголовки, в которых расширение фразеологизма происходит за счет усложнения одного из компонентов: *Радиоглас божий; Хватит плакаться в бронжилетку.*

Значительно реже используется третий прием — сокращение фразеологизма за счет его эллиптического использования. Однако это очень выразительный прием, рассчитанный на эрудицию читателя, которому достаточно нескольких слов, чтобы восстановить в памяти все выражение. Еще большую остроту этому приему придает одновременная вместе с сокращением замена одного из компонентов устойчивого выражения, например: *Плюс кашпировизация всей страны.*

Второй тип авторского варьирования — частичное изменение состава фразеологизма, которое ведет к изменению его общего значения. Это достигается или лексической заменой одного из компонентов, когда в качестве замещенного слова выступает его антоним, или изменением грамматической формы устойчивого оборота речи: *Против лома — есть приемы!; «Иваньч», помнящий родство; Все течет и не меняется; Один на всех — и все за одного?*

Изменение общего значения фразеологизма может происходить в результате оригинального смешения двух устойчивых выражений,

например: *По Сеньке ли шапка Мономаха? Красная книга — лучший подарок.*

Третий тип заключается в изменении значения фразеологизма при полном сохранении его лексического состава. Намеренное «столкновение» заголовка с содержанием материала создаст хороший стилистический эффект. Сюда можно отнести следующие примеры: *Шариков не хватает?* (в заметке говорится об игре в снукер, похожей на бильярд); *Остальные вожди остались с носом* (информация о происшествии с бюстом Сталина); *Как я не съел собаку* (статья посвящена вьетнамской кухне); *Наша крыша поехала в Африку* (размышление о жилищной проблеме в нашей стране и за рубежом). Еще большей выразительности автор достигает при каламбурном обыгрывании измененной фразеологической единицы. Так, статье о монархической партии предпослан заголовок «С царем в голове».

Таким образом, фразеологический оборот по своим стилистическим свойствам хорошо подходит для использования в качестве газетных заголовков. Устойчивое сочетание может входить в заголовки в неизменном виде (*Бойтесь тех, кто гарантирует народу манну небесную*), но значительно чаще оно трансформируется или обыгрывается в контексте самого заголовка (*Запретный плод становится все слаще; Сколько работает тот, кто не ест; Хлеба нет. Имеются зрелища; От коммунизма остался только призрак*) или переосмысливается в тексте заметки. Придумать к статье хороший заголовок — дело очень непростое, журналисты это знают. Газетчики «Комсомолки» используют эффектные стилистические приемы и этим достигают точности смысла, остроты и броскости.

Курск

ИМИДЖ

Н. В. СТАРКОВА

Новые слова приходят и уходят. Сегодняшнее время необыкновенно подвижно и динамично. И это прежде всего проявляется в языке.

Термин *имидж* заимствован из английского (*image* — «образ, облик, представление о чем-либо»). В последнее время *имидж* очень широко употребляется в современном русском языке. Его первоначальное значение расширяется в зависимости от контекста и ситуации: «Юмор, ирония — это мой актерский имидж, который сильно отличается от человеческого» (Неделя. 1991. № 43).

Имидж — это не только облик или сложившееся представление о чем-либо, но и репутация, мнение широкой публики о каком-то объекте, например: «А имидж „Камы“ — быть законниками во всем, даже в мелочах...» (Рабочая трибуна. 1991. 23 ноября); «Константин Райкин существует на сцене по принципу наоборот. Он отверг имидж танцующего, поющего, бескостного артиста» (Советский патриот. 1991. № 47).

Значение «имидж—образ» может приобретать дополнительные, оценочные, контекстные интерпретации: «Когда Александр Гурнов... улыбается и делает глазки телезрителю... Это входит в „имидж“ бонвивана, шутника-капризника, подающего заодно информацию, но сперва самого себя» (Семь дней. 1991. № 48).

Кроме того, у термина *имидж* есть специфические, смысловые оттенки, которые появились только в русском терминопотреблении. Например, понятия «создание имиджа», «атрибутика имиджа» выражаются в английском языке не в самом слове *имидж*, а в его производном *image-building* (т. е. создание репутации, реклама компании, актера, партии). В различных газетных и телевизионных материалах *имидж* широко употребляется именно в этом значении: «Как выяснилось, ослепительное платье было выписано специально для торжества и всего на 24 часа из Парижа с целью презентации нового имиджа певицы...» (МК. 1992. 22 янв.); «Neo-TV! Neo-TV» — это ваш рекламный имидж!» (Телереклама).

По аналогии с первоисточником, *имидж* — слово мужского рода. Активно включаясь в систему русской грамматики, термин уже грамматически освоен, т. е. склоняется, как существительное мужского рода твердого склонения. Термин *имидж* широко используется в разных областях нашей жизни. Поэтому сегодня можно говорить о полном лексическом освоении в русском языке этого заимствованного слова.

Адаптация, лексическое освоение в языковой среде заимствованных слов — это одна из проблем не только лингвистики, но и общей культуры современного мышления. *Имидж, презентация, дайджест, брифинг* и др... Можно ведь посмотреть на употребление этих слов с точки зрения синонимической «русской» замены. *Имидж* — облик, образ, представление... Откроем хотя бы малый академический словарь русского языка. Семь значений слова *образ*, а также богатство фразеологического употребления, множество синонимических вариантов — все это заставляет задуматься, прежде чем употребить слово «имидж» вместо слова «образ».

Варианты орфоэпических, словообразовательных, грамматических норм русского языка, их подвижность и «легкий» русский синтаксис — это особенная природа, индивидуальное состояние нашего языка. В свою очередь, эта особенность рождает другую — стилистическую точность, чистоту, мотивированность слово- или формоупотребления. Вернемся к тому же слову «образ—имидж». В одном из его значений могут употребляться синонимы *представление, репутация, мнение*, что обычно мотивируется контекстом или речевой ситуацией. Нужно ли в таких случаях употреблять слово «имидж», если даже в английском языке к русскому значению «создание мнения, репутации» есть другое слово не *image*, а *image-building*?

Итак, слово *образ* со своими богатыми семантическими возможностями может выражать ничуть не хуже слова *имидж* все нюансы современного словоупотребления. Только нельзя забывать одну простую истину — богатство языка требует бережного к нему отношения.



В поисках единства. IV: Смоленские мотивы *

О. П. ТРУБАЧЕВ,
действительный член РАН

Новая эпоха ознаменовалась не только возобладанием пришлого этноса, среди которого и перемежаясь с которым долго еще мирно существовали этнические островки и полосы иноплеменного балтийского населения, из чьих уст были услышаны и переняты десятки и даже сотни водных и местных названий, так и оставшихся в русском ономастиконе памятником иных времен и другого языка. Довольно скоро новое население, разлившееся по равнине, которую назовут потом Русской равниной, оценило уникальные природные особенности, не вызывавшие столь пристального интереса раньше, у прежнего населения. Дело в том, что, поднявшись вверх по Днепру, славянские племена вступили в область, которую по достоинству можно бы было обозначить как Великий водораздел. С невысокой возвышенности за Смоленском берут начало и стекают на Запад, Юг и Восток сразу три больших реки. Отсутствие горных преград делало местность легкодоступной во всех направлениях. На севере недалекая Ловать открывала путь к полноводному Ильменю и далее, к северным морям. К чести наших предков следует отметить, что они очень скоро сориентировались и воспользовались природными преимуществами, которые до них как бы лежали втуне. Уникальность и ключевой характер окрестностей Смоленска, можно сказать, определили дальнейшую историю страны. Обычно констатируют (кто — с горечью, кто — с чувством превосходства), что в России дороги всегда были плохие. Но сказанное справедливо лишь о сухопутных наших дорогах, и в какой-то степени это компенсируется (а, возможно, и объясняется?) тем иногда недооцениваемым обстоятельством, что наши водные пути оказались лучшими из мыслимых и именно на этих путях Русь стала Русью, Россией. В этом, кроме природной удачи, было проявлено большое умение оценить и правильно использовать ее. Достаточно раскрыть нашу начальную летопись, чтобы убедиться, какое значение придавалось гидрографии:

* Начало см.: Русская речь. 1992. № 4.

Днѣпръ бо потече из Оковьского лѣса, и потечеть на полъдне, а Двина ис того же лѣса потечет, а идетъ на полунощье и внидетъ в море Варяжское. Ис того же лѣса потече Волга на вѣстокъ,— так гласит Повесть временных лет, впервые сообщившая нам название этого замечательного природного объекта — *Оковский лес* [1, с. 26]. Сейчас от древнего лесного массива мало что осталось, а был он велик и богат источниками вод, и эта его важнейшая особенность отпечаталась, как мы думаем, в его названии. Внешне вполне русское, это название *Оковьский лѣсъ* принадлежит, по-видимому, более глубокой старине. Мне неизвестно, предпринимались ли раньше попытки этимологизации названия этого леса; похоже, что до сих пор довольствовались его русским обликом, полагая тем самым, что «и так вся ясно». Однако у нас есть основания думать, что это не так. *Оковьский лѣсъ* — это, скорее всего, адаптация (заимствование) местного субстратного балтийского выражения *Akū(n) medjas что значит «родниковый лес», где представлено определение в форме род.п. мн. ч. *akū(n) от слова, родственного литовскому akis — не только «глаз», но и «чистое место воды в заросшем болоте», латышскому aka «родник, колодец» (см. о нем [2, с. 4]). Определяемое «лес» было просто подвергнуто переводу на русский с субстратного балтийского, на котором оно, как мы думаем, звучало *medjas, то есть полностью совпадало с праформой балтийского слова «лес» — латышского mežs, древнепрussкого median [2, с. 173]. Сюда, возможно, принадлежит как балтийский рудимент название речки *Межа* (в таком случае — «лесная»), приток бассейна Западной Двины, протекающий в пределах древнего Оковского леса.

Предложенная этимология др.-русс. *Оковьский лѣсъ* как передачи балт. *Akū(n) medjas «родниковый лес», наилучшим образом гармонируя с природными особенностями этого водораздельного леса, питающего истоки трех крупнейших рек Восточной Европы, безусловно вписывается в балтийский гидронимический контекст, начиная от известного русского гидронима *Ока*, в котором также, скорее всего, дремлет балтийское субстратное *aka, первоначальное название прежде всего истоков, верховьев Оки (прочие этимологии имени *Ока* менее удовлетворительны), и — кончая живыми современными балтийскими водными названиями вроде литовского, Akīū, ežerėlis буквально «родниковое, бочажное озеро» (пример из [3]).

Как уже говорилось, название *Оковьский лѣсъ* принадлежит начальному древнерусскому прошлому, к настоящему времени оно давно забыто, только наметанный глаз специалиста способен выхватить из местной топонимии село *Оковец*, или *Оковцы*, название которого все еще хранит память леса, который примыкал к селу в старину [4, с. 8; за эту библиографическую ссылку выражаю при-

знательность И. Юрьевой]. О преобразованиях названия Оковского леса в более поздние века мы еще скажем в специальной связи дальше. Вместе с тем приходится констатировать, что, например, так называемый «Большой Чертёж», фиксирующий обычно детали, не знает древнего названия леса, из которого вытекал Днепр, хотя сообщает любопытные и для нас реальные подробности: «А Днепр река течет из мху из болота» [5]. Ср. практически современное нам, 1913 года, описание Маштакова: «Днепр берет начало в болоте у дер. Клецевы (Рождественской) Бельского у. Смоленской губ.» [6]. Напомню тут, что и наша этимология Оковского леса восстанавливает реально-семантический контекст родниковых бочажин среди лесных болот.

Предпочтительность водных путей на Руси, «гидрографический» во многом рисунок нашей истории нашли как нельзя более яркое выражение в трагической судьбе первых русских святых: два брата, князья Борис и Глеб были злодейски убиты в начале осени 1015 года, Борис — на берегу Альты (Льты), что впадает в Днепр на юге, а Глеб — прямо «въ кораблице» на Смядыни, также впадавшей (речка под этим названием давно высохла) в Днепр в пределах нынешнего Смоленска [1, с. 284, 290; 7, с. 8; 8, с. 28]. Это, казалось бы, внешнее обстоятельство делает в наших глазах первых русских святых Бориса и Глеба очень русскими святыми.

Новую важную страницу истории не только этих мест, но всей вообще русской истории открыло волоковое судоходство. Относительно времени его начала возможны споры. Всего охотнее при этом в качестве *terminus post quem* называют IX век. Если вдуматься, в основу этой датировки положен факт знаменитого пути «из Варяг в Греки», то есть «из Швеции в Грецию» (...бы путь изъ Варягъ въ Греки и изъ Грекъ по Днѣпру, и верхъ Днѣпра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити в Ылмерь озеро великое... Повесть временных лет [1, с. 26]). Поскольку на IX век приходится, согласно летописи, призвание этих варягов на Русь, существует большая готовность связывать воедино эти феномены и волоковое судоходство — с ними [9, с. 511]. Однако все было не так однозначно, и дело даже не столько в том, что летопись, раз назвав путь «из Варяг в Греки», на самом деле описывает путь «из Грек» [10, с. 125], все дело в том, что вырисовывается сложная самостоятельная система волоков, которая вовсе не обязательно была связана с варяжским путем. Самую важную информацию на этот счет представляет русский характер номенклатуры волоков, полное отсутствие скандинавского языкового вклада в эту номенклатуру, конкретно — ничего похожего, скажем, на двуязычный перечень названий нижнеднепровских порогов у Константина Багрянородного — «пошведски» и «по-славянски» (по-русски). Ничего похожего, повторяю,

среди названий верхнеднепровских волоков нет, хотя от них до Швеции намного ближе, чем от порогов в низовьях Днепра. Это обстоятельство позволяет не сковывать историю зарождения волоков скандинавской схемой и, возможно, отодвинуть начало этой истории в предыдущие столетия, во всяком случае — более близкие к водворению здесь славян. Отражения волокового судоходства в здешней топонимии и гидронимии дожили до наших дней: *Волок* (дважды), название деревень между бассейнами Западной Двины и Ловати, *Полы*, там же неподалеку — деревня *Переволочье*, еще одна деревня *Волок* — между верховьями Западной Двины и Волги, *Перевоз*, деревня в верху двинского притока Межи, откуда близок один из верхневолжских притоков — Молодой Туд, *Волочек*, деревня в самых верховьях Днепра, близкая одновременно к верхневолжскому притоку Вазузе [4, с. 9]. Совершенно очевидна связь этих названий с волоковой практикой и одновременно — славянорусская природа самих названий, обрамляющих, по данным исследователя Л. В. Алексеева, значительную часть Оковского леса на северо-западе, севере, северо-востоке и востоке [4, карта на с. 7]. Южнее картина довершается четкими следами еще одного волока между Западной Двиной и ее притоком Касплей и речкой Катынь, притоком Днепра [7, с. 16], ср. там промежуточное селение с характерным славянским «судоходным» названием — *Лодешницы* современное — уже затемненное — *Лодыжичи*, *Лодыжницы* [11, с. 333]. И достопамятная *Катынь* — это прежде всего волоковой термин и чисто славянорусское отглагольное суффиксальное производное (*Кат-ынь: катати*), понятное при учете орудий и технологии волока — перекатывания судов на катках, осуществляемого скотской и людской тягой, с применением воротов и прочего [4, с. 9]. Слова *волокъ* и *Оковьскыи льсъ* почти соседят друг с другом в Повести временных лет. Взгляд на географическую карту подтверждает это наблюдение: подавляющее большинство древнерусских судоходных волоков было сосредоточено здесь. Исследователь ставит в особую зависимость наблюдаемую раннюю плотность населения в Оковском лесу от скопления здесь своеобразных «узких специалистов», промышлявших перевозкой на волоках — так называемых *волочан*. Понятны поэтому выводы Л. В. Алексеева о том, что основателями не менее чем шести волоков в Оковском лесу были славяне-кривичи [4, с. 9, 11]. Русские колонисты, особенно активные начиная с ранних веков со стороны Великого Новгорода в северных и восточных направлениях, несли с собой дальше эту практику, терминологию и эту пространственную ориентацию. В результате появилось название *Заволочье*, охватывавшее целую территорию в бассейнах рек Северной Двины и Онеги, помещаемую как бы «за волоками», которые связывали Онежское озеро с Белым озером и рекой Шексной [12]. За этим,

естественно, стоит своя, русская, культура волокового судоходства и своя, новгородская, ориентация колонизационного движения на Восток. Какие-то скандинавские моменты здесь отсутствуют.

Таким образом, глядя на описываемый предмет в плане разграничения унаследованных архаизмов и инноваций, мы еще раз должны уточнить свою позицию по балто-славянским отношениям. От балтов, просуществовавших местами достаточно обособленно в этих краях чуть ли не до XII века (племя голядь на территории Смоленской и Калужской губернии) остались определенные следы в ранге водной (речной, болотной) номенклатуры вроде диалектного *тваць* «болото» из литовского *tvāpas* «наводнение, половодье» и собственных речных названий (ср. [13]). Зная из собственной исследовательской практики, что число этих балтийских выявляемых следов можно даже умножить (ср. то, что высказано выше о происхождении названий *Ока*, *Оковский лес*), мы в принципе констатируем, что после балтов остался слой собственно водной номенклатуры, безотносительной к деятельности человека. Г. Краэ называл подобный слой термином «Wasserwörter», усматривая в нем низшую ступень гидронимии. Именно в этом состоит архаика балтийского вклада в гидронимию, вообще — ономастику Восточной Европы. Но в этой балтийской номенклатуре нет еще даже намека на судоходство, в том числе волоковое. Этот новый культурный и экономический смысл восточноевропейскую водную систему принесли славяне, создав новую номенклатуру на месте, применительно к местным, как мы видели, уникальным условиям.

Когда говорят о культурном уровне древних балтов и древних славян в сравнении друг с другом, обычно приходят к заключению о несколько более высоком уровне культуры славян сравнительно с балтами. Сознвая, что общие утверждения такого рода могут показаться не для всех очевидными и убедительными (особенно сейчас, в пору обострения национального самосознания также балтийских народов), я все же рекомендовал бы в подобных спорах не упускать из виду рассматриваемый здесь случай и выявляемый при этом осязаемый вклад именно восточных, русских славян в культуру Восточной Европы, для чего требовалось все же некоторое предрасположение этноса — меньшая родоплеменная замкнутость, значительно большая открытость внешнему миру, определенная готовность к новациям, включая языковое творчество, если угодно — хозяйственная предприимчивость, что и было в требуемом объеме проявлено славянской Русью. Говорю это специально еще и потому, что, как оказалось, эта реальность до недавнего времени не встречала правильного понимания в научной литературе. Одна небольшая заметка такого классика нашей науки, как М. Фасмер, кажется

характерной в этом смысле. Разбирая в свое время происхождение названия пограничного латвийского-эстонского городка — латышское Valka (эстонское Valga), немецкий ученый рассудил, что оно ведет свое начало от незасвидетельствованного латышского слова *valka «место, где лодки переволакиваются из одной реки в другую», сравнив это с реальным русским словом волок<праслав. *volкъ [14]. Но весь лингвистический казус — в том, что балтийская реконструкция при этом оказалась совершенно искусственной. Ничего похожего на описанное значение «волок» балтийские языки не знают и, видимо, никогда не знали. Соответствующий глагольно-именной корень — балт. *velk-/*valk- в этих языках имеется, причем он достаточно употребителен и продуктивен, но на фоне этих достоверных положительных сведений факт полного отсутствия значения «судоходный волок» в балтийском тем более разителен. Ср. известные значения лит. vilkti, velki «тащить; одевать, натягивать», vilkėti «носить (одежду)», лтш. vūkt «тащить, тянуть», vilkat «таскать», лит. ārvalkas «верхняя одежда, оболочка», лтш. valks «одежда, платье», лит. valkata «бродяга», valkiotis «таскаться, шататься», лтш. valkat «таскать» [15].

Дело, однако, не ограничивается выявленным противопоставлением славян и балтов в вопросе причастности к волоковому судоходству. Попутно выясняется нечто не менее интересное уже в рамках славянского. Положение при этом несколько завуалировано тем обстоятельством, что, например, продолжения праславянской формы *volкъ есть во всех славянских языках, но обозначают они самые разные предметы, перемещаемые тягой, в о л о ч е н ь е м, — рыболовную сеть, невод, поезд, словом, все, что угодно, но только не волок, пространство, преодолеваемое судами, перетаскиваемыми посуху. Оказывается, это последнее значение из всех славян представлено только у восточных [16]. В полном соответствии с показаниями языка находятся данные по реальной истории, истории культуры. Похоже, что сколько-нибудь широкое использование волоков у других славян вообще проблематично и гипотетично и рассмотренные нами выше древнерусские волокч представляют яркий эпизод также в общеславянском масштабе, поскольку другого такого достоверного и крупного примера просто не существует [17]. Сомнительно также древнее наличие терминологических эквивалентов в германских языках, во всяком случае немецкое Schlepstelle «волок» явно смахивает на кальку (причем — приблизительную) с русского волок, другие обозначения носят вообще описательный характер.

Так называемый «путь из Варяг в Греки», относительно которого существует мнение, что развился он поздно и существовал сравнительно недолгое время — с IX по XI век (в оценку этого распро-

страненного мнения мы здесь больше входить не намерены), расцвел целиком благодаря своим волокам. Все говорит за то, что и сами эти волокы и весь этот путь, немыслимый без волоков,— детище древнерусского гения, хронологически чисто внешне пристегнутое в трудах историков к появлению и деятельности скандинавского, варяжского элемента, будучи на самом деле собственной культурной новацией основного населения страны, как мы это попытались выше показать средствами исторического языкознания.

То тесное соседство, в котором наша начальная летопись употребила слова *волокъ* и *Оковьскыи лѣсъ*, на что мы уже обращали внимание выше, не прошло бесследно. Сказалось и обилие волоков в самом этом лесу, что потянуло за собой переосмысление непонятного и, как мы выяснили, чужого названия в свое, «понятное». Так возникли более поздние названия этого леса — *Волоковский* и даже *Волоконский*, как именуют его Герберштейн и уже Воскресенская летопись [4, с. 11]. Сработала, как мы понимаем, обычная в таких случаях народная этимология. Перед нами прошел как бы эпизод из истории русского языка, его словаря, выдержка из истории культуры русского народа. При этом, как бывает, центральная часть эпизода почти забылась, ушла в небытие, ее можно лишь, с некоторыми усилиями, восстанавливать, и на более широком, славянском фоне она вновь способна ожить в своей внушительности. Но эпизод оказался действительно значимый, его отражения, порой — совсем косвенные и неожиданные, живут с нами и сейчас и незаметно входят в быт и современные представления, сознание русского человека. Как известнейшая русская фамилия *Волконский*, княжеская и объясняемая в научной литературе от названия родового имения, а оно — в свою очередь — от реки *Волконь* [18], медленно начинает вдвигаться в очерченный нами этимологический круг. Как само это — поначалу совсем неясное — *Волконь*, название реки находимое в Калужской и Тульской губерниях [19], вдруг оказывается в целом сонме деревень под названиями *Волконск*, *Волконская*, она же, заметим, — *Волоконовка*, и еще *Волконское*, *Волоконск*, *Волоконская*, *Волоконский* (все — в Орловской, Курской, Калужской, Воронежской губерниях) [20], и пелена, застилавшая до поры наше этимологическое зрение, слетает, и нам становятся понятны постигшие наше слово изменения — синкопа предударного гласного *Волконский* из *Волоконский*. Возникшее при этом соседство с плавным *л* повлекло спирантизацию взрывного *к* (благо и давний смысл целиком затемнен), и вот, уже в пределах старого центра города Москвы мы останавливаемся на названии левого притока Москвы-реки, навсегда погребенного, как многое другое, под асфальтовыми мостовыми улиц,— не только в форме *Волкона*, но и — *Волхона*, а также наша повседневная улица *Волхона* [21]. Последнюю форму

было труднее всего понять — имснно потому, что она последняя, конец долгого пути, и, только добравшись вспять, до ее осмысленного волоконского и волоковского — волокового начала, испытываешь тихое удовлетворение, что не зря, оказывается, прослужил тридцать лет в доме на Волхонке, в Институте русского языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. Составление и общая редакция Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. М., 1978.
2. Trautmann R. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1970.
3. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981. С. 37.
4. Алексеев Л. В. «Оковский лес» Повести временных лет//Культура средневековой Руси. Л., 1974.
5. Книга Большому чертежу. Подготовка к печати и редакция К. Н. Сербиной. М.—Л., 1950. С. 99.
6. Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. СПб., 1913. С. 1.
7. Писарев С. П. Памятная книга г. Смоленска. Историко-современный очерк. Указатель и путеводитель. Смоленск, 1898.
8. Авдусин Д. А. Возникновение Смоленска. Смоленск, 1957.
9. Dnjepr.— Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Begründet von J. Hoops. 2. Auflage. Herausgegeben von H. Beck, etc. Bd. 5. Lief. 5/6. Berlin — New York (отд. отд.).
10. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982.
11. Седов В. В. К исторической географии Смоленской земли//Материалы по изучению Смоленской области. Вып. IV. Смоленск. 1961.
12. БСЭ, 3-е изд. Т. 9. М., 1972. С. 270.
13. Vasmer M. Die russische Kolonisation im Spiegel der Sprache.— VI. Intern. Kongreß für Namenforschung. München, 24—28. Aug. 1958 (=M. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971. S. 778, 780).
14. Vasmer M. Zur baltischen Ortsnamenforschung: 2. Walk.— Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, 1922 (=M. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. I. Berlin, 1971. S. 205).
15. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 1190—1191, 1253.
16. Udolph J. «Handel» und «Verkehr» in slavischen Ortsnamen.— Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und

frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil IV. Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Göttingen, 1987 (=Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philosophisch-historische Klasse. 3. Folge, Nr. 156. S. 599 и сл.).

17. Maly słownik kultury dawnych Słowian. Pod red. L. Leciejewicza. Warszawa, 1972. S. 317 (*przewłoka*), 22 (Put' iz Warjag w Greki).

18. Унбергаун Б. О. Русские фамилии. М., 1989. С. 20, 105.

19. Wörterbuch der russischen Gewässernamen zusammengestellt von A. Kernd'l, R. Richardt und W. Eisold unter Leitung von M. Vasmer. Bd. I. Berlin — Wiesbaden, 1961. S. 350.

20. Russisches geographisches Namenbuch. Unter Mitwirkung von I. Coper, I. Doerger, J. Prinz, R. Siegmann herausgeg. von M. Vasmer. Bd. II, Lieferung 1. Wiesbaden, 1965. S. 154, 160.

21. Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976. С. 108.

Окончание следует



ГИМН ГРАММАТИЧЕСКОМУ УЧЕНИЮ

Е. А. ВЕРХОВСКАЯ

«Пестрый», «бунташный» семнадцатый век занимает особое место в развитии древнерусской культуры, становлении науки, искусства. Ему присуще удивительное переплетение архаики и новаций, соединение «местных и византийских традиций с влияниями, пришедшими из Польши, Украины, Белоруссии» (Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 172). Переход от древнерусской культуры предшествующих столетий к культуре нового времени не был ни плавным, ни постепенным. Особенности исторического характера сказались на развитии явлений культуры, на процессе накопления научного знания.

К середине XVII века светские и церковные иерархи все отчетливее осознают необходимость радикальных перемен в сфере образования. Антиуниатская полемика, обострение борьбы с католичеством — все это, в конечном итоге, диктовало необходимость распространения на Руси грамматического знания, развития филологической науки. Один из виднейших оппонентов ортодоксальной церкви иезуит Скарга считал славянский язык причиной

темноты и невежества русского народа. «Еще не было,— говорит он в своем сочинении,— на свете академии, где бы философия, богословие, логика и другие свободные науки преподавались по-славянски. С таким языком нельзя сделаться ученым. Да и что это за язык, когда никто не понимает и не разумеет писанного на нем? На нем нет ни грамматики, ни риторики, и быть не может <...> с этим языком выходит, что слепой слепого ведет». (Цит. по: Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. СПб., 1867. С. 202—203). Пожалуй, трудно представить более уничижительную характеристику языковой ситуации на Руси.

Необходимость скорейшей разработки норм русского языка усугублялась в условиях книгопечатания, массового распространения текстов. Парадоксальность начального этапа становления русской грамматики состоит в том, что московские книжники середины XVII века обратились к изданиям южнорусским конца XVI — начала XVII веков, вышедшим из типографий Острога, Евю, Вильны. Юго-западные окраины России еще в конце XVI века являлись местом драматической борьбы между польским католичеством, православием и протестантизмом: именно здесь отказ от веры трактовался как отказ от национальной самобытности, а формирование грамматических норм русского языка было чрезвычайно актуально.

Функциональность грамматического учения была теснейшим образом связана с уровнем образования русского общества. Долгое время регулярные школы вообще отсутствовали как таковые, только в XVII веке начали создаваться подобные заведения, к сожалению, зачастую недолговечные. Раскол в русской церкви способствовал активизации попыток властей в этом направлении. В конце сороковых годов Ф. М. Ртищев приглашает для преподавания в московской школе при созданном им Андреевском монастыре ученых монахов из Киева. «Житие милостливого мужа Федора Ртищева» повествует о том, как герой, «любомудрия рачитель», приглашает из «Святыя Лавры Печерския священномонаха Епифания, мужа мудраго, и в языке Славенском и Греческом и во иных изящнаго, к сему же и других иноков во учении грамматики Славенской и Греческой, даже до Риторики и Философии, хотящим тому учению внимати» (Древняя российская вивлиофика. М., 1791. Изд. 2-е. Ч. XVIII. С. 401).

Но и подвижническая деятельность Епифания Славинецкого, и настойчивость мецената Ф. М. Ртищева были характерными для своего времени явлениями; создание на Руси регулярных учебных заведений во второй половине XVII века — веяние эпохи. Так греко-латинская школа при Чудовом монастыре, возглавляемая Арсением Греком, действовала в середине XVII столетия. Заслуживает упоминания и «школа грамматического обучения», основанная в

1665 году при Заиконоспасском монастыре в Москве и руководимая Симеоном Полоцким. Уже в этих учебных заведениях, предшествовавших основанию Славяно-греко-латинской академии, несомненно, читались курсы философии и грамматики.

Грамматическое учение, питаемое греческой традицией, приобретало на Руси особую популярность в связи с широким распространением книгопечатания и необходимостью унификации текстов.

Книгопечатание способствовало появлению новых литературных жанров — предисловий и послесловий, активно использовавшихся в идеологической борьбе середины XVII века. Само появление подобных литературных форм в книгах, вышедших из Московского Печатного двора, произошло не без влияния украинско-белорусских изданий. Острая идеологическая борьба середины XVII века существенно повлияла на процесс формирования печатных предисловий и послесловий.

Использование конкретной стилистической формулы, тех или иных элементов композиции диктовалось, в первую очередь, своеобразием историко-культурной ситуации того времени. Проповедь грамматического учения — совершенно новая для русских читателей тема предисловий и послесловий — была предложена издателем книг Печатного двора в сороковых годах XVII столетия. Причем последовательное обращение к филологической проблематике в текстах, «конвоирующих» «Службы и житие Николая Чудотворца» 1643 г., «Апостол» 1644 г. и «Грамматику» Мелетия Смотрицкого 1648 г., представляется не случайным совпадением, а сознательной тенденцией.

Послесловие «Служб и жития Николая Чудотворца» 1643 г., по-видимому, впервые в истории Московского Печатного двора обращает внимание читателей на сложности русской грамматики и орфографии. Повторное введение данной тематики в текст послесловия московского «Апостола» 1644 г. является ярчайшим свидетельством происходившей тогда секуляризации отдельных видов знания. Книжники Печатного двора отстаивали необходимость развития «грамматического любомудрия», неразрывно связанного в их представлении с процессом просвещения русского общества.

Трудность грамматики для изучения осознавалась авторами московских печатных книг, тем не менее они настаивали на ее изучении: «А грамматического убо сиречь осьми частей слова и разума ведения трудно, но внятно, и смыслу сердец наших просветительно ...»; «... без сего убо кто и мняся ведети, ничто же весть. Того ради учайся и внимая, да внимает и от прочих». (Апостол. М., 1644. Л. 313).

Подлинным гимном грамматическому учению явилось издание в Москве в 1648 году «Грамматики» Мелетия Смотрицкого, причем

текст книги, повторяющий в основном издание 1619 года, вышедшее в Евю, обрамлен новыми предисловиями и послесловиями. Назидательное предисловие, специально сочиненное анонимным автором для русского читателя и сопровождающее книгу Мелетия Смотрицкого, восхваляет человеческие знания, превозносит «философскую премудрость». Острая идеологическая борьба, развернувшаяся на Руси в середине XVII века, настоятельно требовала освящения «внешнего» знания именами отцов церкви. Именно поэтому введению основной темы — грамматического учения — в предисловии предшествуют многочисленные отрывки из произведений патристики: «...яко и сии духоноснии святыи отци мнози, грамматики, и прочих книг философского учения, люботрудне во учении оупражняхуся» (Грамматика. М., 1648. Л. 1). Авторитет Афанасия Великого, Григория Богослова, Василия Великого подкреплял идею необходимости изучения «светской» науки грамматики, вовсе неоднозначно принимаемой представителями различных направлений в русском обществе того времени. Автор же предисловия к «Грамматике» М. Смотрицкого 1648 года подчеркивает настойчивое стремление отцов церкви овладеть грамматикой, философией, риторикой. Так, приводится эпизод из жития Григория Богослова, отправившегося в Палестину, «риторския желая доброты оучения».

Своеобразие предисловий и послесловий к «Грамматике» 1648 года было связано с новизной для московских читателей тематики книги и с ее ролью в развитии русской филологии и культуры семнадцатого века в целом. «Грамматика» М. Смотрицкого оказала значительное влияние на формирование языкознания у славян; «долгое время являлась единственным руководством при изучении церковнославянского языка», была «прототипом не только для грамматики славянской, но и для русской грамматики. По ней, наконец, исправлены были церковно-славянские книги». (Засадкевич Н. Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса. 1883. С. 1—2). Восторженный панегирик труду М. Смотрицкого далеко не полностью осветил возможные аспекты его влияния на развитие русской филологической науки XVII—XVIII веков. Книжники Московского Печатного двора, издавая «Грамматику» Мелетия Смотрицкого, несомненно, должны были преклоняться перед знаниями высокообразованного филолога, обучавшегося в Острожском училище, Виленской иезуитской академии, слушавшего лекции в Лейпцигском, Нюрнбергском и Виттенбергском университетах, преподававшего в школах Евю и Киева.

Предисловия к «Грамматике» 1648 года были обращены к широкому кругу читателей, впервые ознакомившихся с грамматическим учением. Граматики освящались авторитетами не только столпов ортодоксальной церкви, но и именами таких хорошо известных

деятели русской культуры XVI века, как Максим Грек. Исследователи по-разному отзывались о предисловиях и послесловиях «Грамматики» 1648 года. Так, А. Х. Востоков полагал, что предисловие книги выбрано «из слов Максима Грсака». Современный специалист по изучению русской публицистики XVII века А. С. Елеонская считает, что «обширное предисловие в русской учебной книге написано заново».

Ответы Максима Грека на вопросы о сущности грамматики, риторики и философии действительно заключают текст «Грамматики», но за ними следует самостоятельное послесловие о назначении «первой от семи наук свободных», составленное, вероятно, уже московскими книжниками. Включение слов Максима Грека об исправлении книжном в состав «Грамматики» Мелетия Смотрицкого 1648 года вполне понятно: учебная книга высокообразованнейшего украинского автора освящалась авторитетом популярного на Руси философа, вкусившего «художного видения книжного, рекше грамотийского и риторского и прочих чюдных учительств еллинских» (Сочинения Максима Грсака. Казань, 1862. Ч. 3. С. 287).

Филологические способности Максима Грека по-разному оценивались современниками, но сам факт привлечения московскими книжниками в середине XVII века слов философа подтверждает его самооценку: «...аще и грешен есть паче всех земнородных, даровася языком разум и сказание» (Там же. С. 89). Печатников Московского двора, помимо необычайной филологической культуры М. Грека, несомненно, привлекала общность их идеологических установок, в первую очередь избирательность по отношению к «еллинской мудрости». М. Грек использовал те или иные мысли древних философов только в случае их соответствия догматам христианства. Эта позиция лучшим образом накладывалась на ситуацию обострения идеологической борьбы на Руси в середине XVII столетия, отразившуюся на послесловиях печатных книг.

И композиционно и стилистически послесловие «Грамматики» Мелетия Смотрицкого 1648 года существенно отличается от аналогичных текстов, завершавших «Службы и житие Николая Чудотворца» (1643) и «Апостол» (1644). Сама формула зачина послесловия «Грамматики» 1648 года («Всесильный и непостижимый, пресущественный бог наш, славимый в трех лицах ...»; Л. 387) звучит совершенно иначе, чем в текстах, завершающих «Службы и житие Николая Мирликийского» 1643 года («Иже не изреченною мудростию, в троице славимый Бог утверди небеса ...»; Л. 347) и «Апостол» 1644 года («Благоволением бога отца вседержителя и с поспешением сопрестолнаго и едиnorodнаго сына его <...> и содействием пресвятаго и животворящаго Духа ...»; Л. 309). Выбор издателями «Грамматики» 1648 года иной формы зачина был неслучаен, он диктовался сво-

образом послесловия этой нетрадиционной для Московского Печатного двора книги. Первая часть текста любопытна отсутствием в ней развернутого панегирика царю Алексею Михайловичу, причем по отношению к последнему здесь употреблен краткий титул. Авторы послесловия применили уже известный в русской книжности троп «сердечные очи», ассоциировавшийся у русских писателей «переходного» столетия с темой просвещения.

Основная часть послесловия — подлинный гимн во славу «первой от семи наук свободных» (Л. 387). Грамматическое учение, по мнению автора послесловия, включает в себя четыре раздела.

«Первою частию писателя и читателя право писати <...> Вторую же разделеныя части слова, во своя части чиновне располагати. Третью же изобретаемая поуму вещи, стихи или верши добре счиняти. Четвертою же тыя же стихи мерою украшати ...» (Мелетий Смотрицкий. Грамматика. 1648. Л. 387 об.— 388).

Заключительная часть послесловия содержит выходные данные книги: 6 декабря в день Николая Чудотворца; а ведь именно ему была посвящена первая из книг Московского Печатного двора, послесловие которой пронизано идеей развития на Руси грамматического знания.

Композиционная сложность, стилистическая разноплановость, сам значительный объем текстов предисловия и послесловия книги 1648 года — все это было вызвано необходимостью снять недоверие массового читателя к принципиально новой для Руси «свободной» науке грамматике.

Повторное издание книги Мелетия Смотрицкого Федором Поликарповым в 1721 году и многочисленные обращения к тексту московского издания 1648 года виднейших русских филологов XVIII века свидетельствуют о ее выдающейся роли в истории русской культуры и формировании национального языка.

«...Дней минувших Анекдоты»

В. А. ПЕВСКАЯ

Судьба некоторых литературных жанров поистине удивительна: время может не только, порой до неузнаваемости, изменить их отличительные особенности, но и, в зависимости от принятых эстетических норм, пересмотреть их значимость в историко-культурных процессах. В полной мере это относится к анекдоту. Из множества его разновидностей, бытовавших в русской словесности с середины XVIII века, сохранилась одна — «небольшой устный шуточный рассказ с неожиданной и остроумной концовкой», — другие же, просуществовав почти столетие, или не получили дальнейшего развития, или слились с другими жанрами. В XVIII — первой половине XIX века анекдот щедро питал историографию, литературу, журналистику. Потом его существование ограничилось преимущественно устной традицией. Постепенно он утрачивал свое «величие», был отнесен к «низкому» жанру, стал чем-то незначительным, не заслуживающим особого внимания и пристального рассмотрения. И напрасно! Этот особый вид словесного искусства сыграл значительную роль в отечественной культуре, и пробуждение интереса к нему теперь — неслучайно.

В переводе с греческого *анекдот* — «неизданный, ненапечатанный». Так была названа «Тайная история» Прокопия Кесарийского (VI век), выявлявшая скрытые стороны придворной жизни и политики византийского императора Юстиниана. Это сочинение средневекового автора, носившее характер скандальной хроники, и принято теперь за точку отсчета в истории анекдота. Позднее слово *анекдот* объединило столь разные по форме и содержанию произведения, что одного определения оказалось совершенно недостаточно, и для каждого типа появилось свое толкование.

В представлении русского образованного человека эпохи Просвещения анекдот — прежде всего небольшой рассказ о каком-либо историческом лице, содержащий неизвестные ранее сведения о его биографии, рисующий характерные черты его личности. «Под названием анекдотов, — писал в 1798 году И. И. Голиков, автор

многотомных „Деяний Петра Великого“, — разумеются такие повествования, которые в свет не изданы и которые, следовательно, не многим только известны».

Собиратели и издатели анекдотов записывали их со слов очевидцев событий или их потомков, а также пользовались рукописными и печатными материалами. Такие рассказы входили в жизнеописания императоров, полководцев, государственных деятелей. «Анекдоты о императоре Петре Великом, слышанные от разных особ и собранные Яковом Штелином» (М., 1788); «Дух Екатерины Великой, или черты и анекдоты, изображающие характер, славные деяния и великие добродетели...» (СПб., 1814); «Письма и анекдоты генералиссимуса графа Суворова-Рымникого» (М., 1814)... По названиям книг можно судить об их содержании: герои совершали военные и гражданские подвиги, монархи следили за строгим соблюдением законов, восстанавливали справедливость, проявляли заботу о подданных.

Имея официальный характер, сборники отличались ярко выраженным назидательным тоном; неслучайно ими пользовались как своеобразными учебниками, призванными на исторических примерах воспитывать высокие нравственные качества. Образцом в этом смысле могут служить сборники анекдотов, издававшиеся известным литератором пушкинского времени С. Н. Глинкой. В предисловии к одному из них, где совокупно были представлены «подвиги Венценосца и добродетели поселянина», он рекомендовал командирам полков зачитывать эти рассказы солдатам, священникам использовать их в проповедях, а помещикам знакомить с ними крестьян на сельских праздниках.

Все же преобладающая и наиболее интересная часть анекдотического наследия сохранилась не в печатных изданиях, а в частной переписке, дневниках, воспоминаниях. Зная, что написанное станет известно лишь узкому кругу близких людей, автор мог позволить себе быть раскованным, фиксируя на бумаге происшествия, не входившие в официальные хроники. Публиковались эти материалы, как правило, потомками мемуаристов, и, таким образом, читатель был отдален от описываемых событий на должное историческое расстояние. Неслучайно, в «Новом словотолкователе» 1803 года об анекдоте говорилось: «Слово сие само по себе значит дела, которые не были еще обнародованы и при произведении которых действующие желали тайности».

По форме исторические повествования представляли собой зачастую весьма пространственные описания, где важным считалось свидетельство, достойное остаться в памяти потомков, независимо от того, было оно занимательным, остроумным или нет. «Достоинство их: в новости, в редкости, в важности. Недостатки в противопо-

ложных качествах», — отмечал автор «Частной Риторики» Н. Ф. Кошанский. При этом важнейшим критерием отбора и оценки исторического анекдота служила его достоверность. Свообразную методику ее определения выработал И. И. Голиков, писавший, что доверять «такovým преданиям» можно лишь в том случае, если они взяты из «подлинных записок и частных журналов» того времени, если «особы, передавшие их словесно», были очевидцами происшествий или слышали о них от лиц, заслуживающих доверия и если рассказанное подтверждается другими свидетельствами и «не противоречит самой Истории». По мнению литературного критика и цензора А. В. Никитенко, всякий анекдот считался сомнительным, если под ним «не показано источника».

Уже в первой половине XIX века появлялись критические оценки столь безусловного доверия к источнику. П. А. Вяземский, сам охотно собиравший и фиксировавший устные рассказы и предания в дневниках и записных книжках, имел основания заметить: «Известно, что анекдотисты, рапсоды, изустные хроникеры нередко увлекаются словоохотливостью своею: они раскрашивают первобытный рисунок, импровизируют вариации на заданную тему...» Вместе с тем, подвергая сомнению фактическую сторону исторического анекдота, нельзя не отметить, что он часто давал верные, меткие характеристики событиям и историческим лицам, своеобразно концентрируя в себе общественное мнение. «Преобладание в них той или иной нотки, сочувственной или неодобрительной, — говорилось в предисловии к сборнику анекдотов о Павле I, — служит показателем, в какую сторону склонялось большинство симпатий».

Долгое время исторический анекдот являлся основной, наиболее признанной, но все же не единственной формой этого жанра.

Многочисленную и разнообразную группу составляли бытовые зарисовки шуточного характера, краткостью, остроумным завершением рассказа более всего напомиавшие современный анекдот. Несколько поколений русских дворян воспитывалось на «Товарище Разумном и замысловатом» Михаила Семенова и «Письмовнике» Николая Курганова. Увидевшие свет в середине XVIII века, эти книги затем многократно переиздавались. Анекдоты или «краткие, замысловатые повести», помещенные в них, не только составляли «в часы досуга приятное и забавное чтение», но и служили образцами остроумия, которыми можно было блеснуть в дружеском кругу или светской беседе. В большинстве своем это были переводные произведения, заимствованные, главным образом, из французских и немецких источников. В них рассказывалось о глупых мужьях, ворчливых или неверных женах, жадных богачах, хитрых судьях, бойких хвастунах и т. д. Оба сборника, особенно «Письмовник», долго питали воображение присяжных остроловов. К. А. Полевой,

вспоминая о своем брате, известном журналисте и писателе Н. А. Полевом, отмечал: «Иногда, читая анекдот, выдаваемый за новость, он восклицал „Боже мой! Из Письмовника Курганова”»

Героями такого рода анекдотов, которые ныне называют «бытовыми», могли быть не только и не столько безымянные персонажи, но и реально жившие люди. Сохранилось множество забавных историй из жизни писателей, художников, музыкантов, актеров. Подобные истории могли происходить в действительности, а могли и придумываться, но в последнем случае они не должны были противоречить характеру изображаемого лица.

Между анекдотами историческими и бытовыми не существовало четкой границы; они взаимодействовали, совершенствовались, дополняя друг друга. Оттачивалась их форма, в которой достоверность отходила на второй план, основным же требованием становился лаконизм, занимательность, остроумная концовка. «Свойство слога их,— отмечал в „Учебной книге русской словесности“ Н. И. Греч,— есть краткость, ясность, простота. В анекдотах острое слово или неожиданный оборот должен находиться в конце. Надлежит выражать их сколько можно короче, чтоб не растянуть и не сделать вялыми».

И, наконец, в XVIII — начале XIX века анекдотами могли называться небольшие прозаические произведения, которые, учитывая их композицию и содержание, можно отнести к повести, рассказу или новелле. «Содержанием анекдота,— говорилось в «Частной Риторике» Кошанского,— бывают умные слова, или необыкновенный поступок. Цель его: объяснить характер, показать черту какой-нибудь добродетели (иногда порока)...» В подобных сочинениях не столько раскрывался характер конкретного персонажа, добродетельного или порочного, сколько объяснялись черты самой добродетели или порока. Описание «происшествий», «случаев», «необыкновенных поступков» героев очень часто сопровождалось нравственно-философскими размышлениями о добре и зле, о превратностях судьбы и высших ценностях.

Построенные по законам вымышленного литературного повествования, эти произведения имели ссылки на достоверность описываемых событий — что, собственно, и роднит их с историческими анекдотами. О чем бы в повести ни рассказывалось, на каком бы материале она ни была построена, автор старался уверить читателя, что сюжет им не выдуман, а лишь изложен с чьих-либо слов. «Один офицер из отряда прусского партизана Коломба рассказывал мне в 1814 году следующий анекдот» — так начинался рассказ Ф. В. Булгарина «Невольное убийство». А повесть В. А. Жуковского «Печальное происшествие», где шла речь о злоключениях крепостной девушки, воспитанной дворянкой, ссылкой на источник за кан-

чи в а л а с ь: «Анекдот, сообщенный издателю от неизвестного, может быть страшным уроком для многих...» По-видимому, называя свои произведения анекдотами, авторы не столько старались точно обозначить их жанр, сколько подчеркнуть истинность повествования.

Имея столь разнообразные формы, анекдот проникал едва ли не во все сферы культурной жизни России. Без него не обходилось ни светское собрание, ни военный бивуак, ни политический разговор. Писатели, обращавшиеся в своем творчестве к исторической теме, охотно пользовались им для верного воссоздания «духа времени». «Анекдот, служащий основанием повести нами издаваемой,— писал Пушкин в наброске предисловия к „Капитанской дочке“,— известен в Оренбургском краю». Устные рассказы легли в основу «Повестей Белкина», «Пиковой дамы» и других пушкинских произведений. Н. В. Гоголь в одном из писем Пушкину 1835 г. умолял дать ему «какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чисто анекдот», сообщая, что у него «рука дрожит написать тем временем комедию».

Широкое применение в художественном творчестве не отменяет самостоятельной ценности этого своеобразного повествовательного жанра. Он служит незаменимым источником при изучении той или иной эпохи, содержит яркие черты бытовой, культурной, социальной жизни общества, привнося особую цветовую гамму в картину наших представлений о прошлом.

Публикуя некоторые анекдоты первой трети XIX века, напомним слова Г. Р. Державина, который еще в 1780 году писал: «Господа Издатели Санктпетербургского Вестника. Читая в листах ваших некоторые анекдоты, не могу довольно похвалить сего вашего намерения, что вы вводите вкус такого рода к сочинениям. Он приятен и полезен. Приятен потому, что избранное и коротко описанное повествование не делает никакому читателю скуки, но так сказать мимоходом его утешает. Полезен для того, что он оживляет историю, украшает ее и делает удобопродолжительнейшею в памяти».

АНЕКДОТЫ

Царь Петр Великий, заседаая однажды в Сенате, услышал о разных грабительствах, случившихся за несколько дней, в великое пришел негодование и во гневе сказал сии слова: «Клянусь Богом, что я, наконец, прерву проклятое сие воровство». Потом, взглянув на тогдашнего генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского, сказал ему: «Павел Иванович! Напиши сей час от моего имени генеральский указ во все государство, что, ежели кто и столько украдет, чего будет стоить петля, тот без дальних допросов будет

повешен». Генерал-прокурор, который уже взял в руки перо, помешкал еще по выслушании сего строгого повеления и со удивлением говорил царю: «Петр Алексеевич, помысли о следствиях такого указа». — «Пиши, — подтвердил царь, — как я тебе сказал». Ягужинский, еще не писав, со смехом повторил монарху: «Всемиловейший государь! Разве вы хотите остаться императором без подданных. Мы все ворует, только с тем различием, что один более другого». Царь, слушавший сии слова в задумчивости, начал шуточному сему замыслу смеяться и без дальнейшего повеления оное оставил.

* * *

*

Старый генерал Щ. представлялся однажды Екатерине II. «Я до сих пор не знала вас», — сказала императрица. «Да и я, матушка государыня, не знал Вас до сих пор», — отвечал он простодушно. «Верю, — возразила она с улыбкой. — Где и знать меня, бедную вдову!»

* * *

*

Екатерина знала, что низшие чины и вся придворная прислуга пользовалась непозволенною поживою, особенно в съестном и напитках. Она даже нередко видала своими глазами, во время утренних прогулок, как служители ее тащили из дворца огромные подносы, нагруженные всякою всячиною, и однажды сказала М. С. Перекусиной: «Хоть бы они фарфор мой сберегли!»

А в другой раз, столкнувшись, так сказать, с этими подносами, сказала несшим их:

— Ну, беда вам будет, если увидит это Торсуков (тогдашний гоф-маршал).

— Спит еще, матушка государыня, — был их ответ.

* * *

*

По какому-то ведомству высшее начальство представляло несколько раз одного из своих чиновников то к повышению чином, то к денежной награде, то к кресту, и каждый раз император Александр I вымарывал его из списков. Чиновник не занимал особенно значительного места, и ни по никаким данным он не мог быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог

быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог решить свое недоумение и наконец осмелился спросить у государя о причине неблаговоления его к этому чиновнику. «Он пьяница»,— отвечал государь. «Помилуйте, ваше величество, я вижу его ежедневно и по нескольку раз в течение дня; смею удостоверить, что он совершенно трезвого и добронравного поведения и очень усерден к службе; позвольте спросить, что могло дать вам о нем такое неблагоприятное и, смею сказать, несправедливое понятие».— «А вот что,— сказал государь.— Одним летом, в прогулках своих я почти всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка был в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: „Пришел Гаврюшкин — подайте водки!“»

Разумеется, государь кончил тем, что дал более веры начальнику, чем попугаю, и что опала с несчастного чиновника была снята.

* * *

*

Генерал К. принял весьма холодно офицера, присланного к нему на ординарцы; наружность последнего не понравилась первому, почему генерал и сказал ему с некоторым неудовольствием: «Не уж ли лучше вас никого нет в полку?» — «Есть,— отвечал смелый офицер,— но лучшие посланы к лучшим, а я к вашему превосходительству».

* * *

*

«Меня насильно обвенчали»,— жаловался приятелю своему один муж, недовольный своим брачным положением.— «Да как же так? — возразил ему приятель.— Ведь священник спрашивает же тебя: имаши ли благое и непринужденное произволение пояти в жену иже пред собою видиши?» — «Да, теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали; да тогда я не спохватился отвечать, а нынче уже поздно: не воротись! Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с нею совсем!»

* * *

*

Православные традиции: праздники, обычаи, обряды

ОБЪЯВЛЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ, МОЛИТВ и ЗАПОВЕДЕЙ *

Важнейшие праздники.

Церковному богослужению преимущественно посвящаются дни праздничные, а также те дни, в которые мы постимся и говеем.

Самый важный христианский праздник есть *Пасха*, или *Светлое Христово Воскресенье*. Это есть праздник праздников. Он установлен в честь и славу воскресения Христова и наступает не раньше 22-го марта и не позже 25-го апреля в первый воскресный день после весеннего полнолуния. (Если весеннее полнолуние случится в пятницу, субботу и воскресенье, то празднование Пасхи откладывается до следующего воскресенья. Под весенним же полнолунием разумеется то полнолуние, которое бывает не раньше 19-го марта.) Празднование Пасхи продолжается целую неделю, в течение которой богослужение бывает особенно торжественное. Пасхальные же песни поются до праздника Вознесения Господня. Воспоминанию и прославлению воскресения Христова посвящаются также все *воскресные дни*, бывающие еженедельно чрез шесть дней в седьмой.

Кроме того, есть двенадцать больших праздников, которые потому и называются *двунадесятыми*. Из них одни установлены в честь Божией Матери, а другие — во славу Господа. Вот эти праздники:

1) *Рождество Богородицы* 8 сентября; 2) *Введение Ея во храм* 21 ноября; 3) *Благовещение Божией Матери* 25 марта; 4) *Успение Божией Матери* 15 августа; 5) *Рождество Христово* 25 декабря; 6) *Сретение Господне* 2 февраля; 7) *Крещение Господне*, или *Богоявление*, 6 января; 8) *Преображение Господне* 6 августа; 9) *Вход Господень в Иерусалим*, или *Вербное Воскресенье*, — в последний воскресный день перед Пасхою; 10) *Вознесение Господне* — в 40-й день от первого дня Пасхи; 11) *Пятидесятница*, — в 50-й день от первого дня Пасхи в память сошествия Св. Духа на

* Окончание. Начало см.: Русская речь. 1991, №№ 2—6; 1992, №№ 1—4.

апостолов в 50-й день по воскресении Христовом. Первый день этого праздника, бывающий всегда в воскресенье, посвящен прославлению Пресвятыя Троицы и потому называется Троицыным днем, а второй день, понедельник,— прославлению Св. Духа, почему и называется Духовым днем, 12) *Воздвижение Креста Господня* 14 сентября. (Даты приводятся по старому стилю — *Ред.*)

Кроме двенадцатых праздников, бывает особенно торжественное богослужение в *храмовые праздники* и *царские дни*, каковы: день восшествия Государя Императора на Всероссийский престол и день его коронования, дни рождений и тезоименитств (то есть дней ангела) Государя Императора, Государынь Императриц и Наследника Цесаревича.

Важнейшими из других праздничных дней считаются: день Нового года 1 января; праздники в честь св. угодника Божия и чудотворца Николая 9 мая и 6 декабря (он жил в 4-м столетии по Рожд. Христ. и был архиепископом малоазийского города Мир-Ликийских, ревнителем и защитником веры православной, образцом высокого благочестия, кротости и смирения, воздержания и благотворительности; Бог прославил его многими чудесами); день Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 24 июня; св. апостолов Петра и Павла 29 июня; Усекновения главы Иоанна Крестителя 29 августа. (В следующий день, 30-го августа, прославляется св. благоверный великий князь Александр Невский. Он жил в 13-м столетии по Рожд. Христ. и был великим князем Новгородским, а затем Владимирским, отличался благочестием и ревностью к православной вере, много потрудился над устройством Русской земли, разоренной татарами, и, радея об ее благе, был как бы ее ангелом-хранителем. Кроме победы над немцами, он одержал особенно славную победу над шведами на берегах реки Невы и за это получил название «Невского». Мощи его в 1724 году, при Императоре Петре Великом, были перенесены из Владимира в С.-Петербург, где почивают и ныне в Александро-Невской лавре.) День ап. Иоанна Богослова отмечается 26 сентября; Покрова (то есть покровительства) Пресвятыя Богородицы 1 октября; праздник в честь Казанской иконы Божией Матери 22 октября установлен в память избавления Москвы заступлением Владычицы от нашествия поляков в 1612 году.

Посты православной Церкви.

Посты, установленные православной Церковью, бывают многодневные и однодневные. Многодневных постов четыре.

1) *Великий пост*. Он продолжается семь недель пред Пасхою и состоит из поста св. Четырдесятницы, установленной в подражание сорокадневному посту Христову в пустыне, и поста Страстной

недели в память страданий Христовых. Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат преддверием и как бы приготовительными днями к Страстной неделе, и потому пост в эти дни также не отменяется.

2) *Петров*, или *Апостольский*, пост, установленный в подержание апостолам, постившимся пред своим выходом на проповедь. Начинаясь чрез неделю после Троицына дня, он продолжается до 29-го июня, то есть до праздника св. апостолов Петра и Павла.

3) *Успенский* пост. Он установлен для достойного приготовления к встрече великих праздников Преображения Господня и Успения Божией Матери, и потому также называется Спасовым и Богородичным постом. Этот пост продолжается две недели с 1-го по 15-е августа.

4) *Рождественский*, или *Филиппов*, пост, установленный для достойного приготовления к великому празднику Рождества Христова. Начинаясь сряду после дня апостола Филиппа, то есть с 15-го ноября, он продолжается 40 дней до самого праздника, то есть до 25-го декабря.

Однодневные посты положены 1) в среду и пятницу каждой недели, кроме сплошных недель (так называются: Пасхальная неделя и неделя после Троицына дня, за которою следует Петров пост, недели после Рождества Христова до 5-го января, то есть кануна Крещения Господня, третья неделя пред Великим постом, называемая неделю мытаря и фарисея, и сырная неделя, называемая иначе масленицей, в которую, однако, мясо никому, кроме немощных, не разрешается); в среду — в память предательства Иуды, в пятницу — в память страданий и смерти Иисуса Христа; 2) накануне праздника Крещения Господня, то есть 5-го января; 3) в день Усекновения главы Иоанна Крестителя 29-го августа и 4) в день Воздвижения Креста Господня 14-го сентября.

Важнейшие действия при совершении таинств.

Крещение и Миропомазание.— Прежде совершения таинства крещения бывает наречение имени, которое дается человеку в честь кого-либо из Святых Православной Церкви. При этом священник троекратно осеняет его крестным знамением и молит Господа быть милостивым к этому человеку и, по присоединении чрез крещение к святой Церкви, сделать его участником вечного блаженства. Когда же наступит время крещения, священник молит Господа изгнать из этого человека всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его, и сделать его членом Церкви и наследником вечного блаженства; крещаемый же отрекается от дьявола, дает обещание служить не ему, а Христу, и чтением Символа веры подтверждает свою веру во Христа, как Царя и Бога. (Когда же

крестят младенца, то отречение от дьявола и всех дел его, а равно и Символ веры произносят от его лица восприемники, то есть крестный отец и крестная мать, которые являются поручителями за веру крещаемого и принимают на себя обязанность научить его вере, когда он придет в возраст, и заботу о том, чтобы он после жил по-христиански.) Затем священник молит Господа освятить воду в купели и, отогнав от нее дьявола, сделать ее для крещаемого источником новой и святой жизни и при этом трижды делает в воде знамение креста сначала своею рукою, а потом освященным слеем, которым он помазывает также и крещаемого в знак милости Божией к нему. После этого священник троекратно погружает его в воду, произнося: «*Крещается раб Божий* (причем упоминается его имя) *во имя Отца, аминь; и Сына, аминь; и Святаго Духа, аминь*». На крещенного возлагаются белая одежда и крест. Белая одежда служит знаком чистоты души после крещения и напоминает ему, чтобы он и впредь сохранял эту чистоту, а крест служит видимым знаком его веры в Иисуса Христа. Сряду же после этого совершается таинство миропомазания. (Миро состоит из 30-ти различных благовонных веществ. Оно освящается в Великий четверг в Московском Успенском соборе и в Киево-Печерской лавре, откуда рассылается всем архиереям для раздачи по церквам.) Священник помазывает крещенного св. миром, делая им знак креста на разных частях тела с произнесением слов: «*печать* (то есть знак) *дара Духа Святаго*». В это время невидимо подаются крещенному дары Св. Духа, при помощи которых он потом возрастает и укрепляется в жизни духовной. Чело, или лоб, помазывается миром для освящения ума; глаза, ноздри, уста, уши — для освящения чувств; грудь — для освящения сердца; руки и ноги — для освящения дел и всего поведения. Троекратное затем хождение крещенного с его восприемниками кругом купели есть знак торжества и радости духовной; возженные свечи в их руках служат знаком духовного просвещения, а крестовидное пострижение волос на голове крещенного делается в знак посвящения его Господу.

Покаяние и Причащение.— Приступающий к этим таинствам сначала постится в течение нескольких дней и посещает службы церковные, причем, вспоминая свои грехи, сокрушается о них и молит Господа о помиловании его; потом в назначенное время он подходит к священнику, совершающему исповедь у аналоя, на котором лежат Крест и Евангелие, и кается в грехах. Священник, видя его чистосердечное раскаяние, возлагает конец епитрахили на его приклоненную голову и читает разрешительную молитву, прощая ему грехи от лица Самого Иисуса Христа и осняя его крестным знаменем. Поцеловав крест, исповедавшийся отходит с успокоенною совестью и молит Господа удостоить его причаститься св.

Таин. Таинство причащения совершается во время литургии. Все исповедавшиеся повторяют за священником молитву пред причащением и делают земной поклон, а потом благоговейно подходят к св. Чаше и причащаются св. Таин, вкушая под видом хлеба и вина истинное тело Христово и истинную кровь Христову. По причащению, кроме благодарения, возносимого за литургией, читаются еще от лица причастников особые благодарственные молитвы. Больных же священник причащает в их домах, сначала исповедав их.

Священство.— Это таинство совершается в алтаре у престола при архиерейском служении литургии. В диаконы и то священники посвящает один епископ, а посвящение в епископы совершается собором епископов. Посвящение в диаконы бывает на литургии после освящения даров, чем показывается, что диакон не получает права совершать таинства; во священники посвящают на «литургии верных» после «великого входа», чтобы посвященный, как получивший на то надлежащую благодать, принял участие в освящении даров; в епископы же посвящают во время «литургии оглашенных» после «малого входа», чем показывается, что епископу дается право посвящать других в разные священные степени. Самое важное действие при посвящении есть архиерейское возложение рук с призыванием на посвящаемого благодати Св. Духа, и потому посвящение называется иначе рукоположением. Рукополагаемый в диаконы или в священники вводится чрез царские врата в алтарь. По троекратном обхождении престола и целовании его углов, он преклоняется пред ним. Архиерей покрывает его голову концом своего омофора, трижды осеняет ее крестным знаменем и, возложив на нее свою руку, возглашает вслух, что этого человека *«Божественная благодать проручествуетъ»* (то есть производит чрез рукоположение) *во диакона* (или же *во пресвитера*); помолимся убо о немъ, да придетъ на него благодать Всесвятаго Духа». На клиросе поют по-гречески: *«Кирие елейсонъ»*, что значит: Господи, помилуй. При возложении на рукоположенного священных одежд, усвоенных его сану, архиерей возглашает: *«Аксіосъ!»*, то есть достоин, и это *«аксіосъ»* повторяют все священнослужащие и певчие. По облачении, священнослужащие той степени, к которой принадлежит рукоположенный, целуют его, как своего собрата, и он вместе с ними принимает участие в службе. Почти одинаково с этим происходит посвящение в епископы, с тем только отличием, что посвящаемый пред началом литургии посредине церкви вслух произносит исповедание веры и обещание как следует по закону проходить свое служение, а после «малого входа» во время пения «трисвятого» приводится в алтарь и становится на колена пред престолом; когда же затем первенствующий в служении архиерей читает молитву

посвящения, то все архиереи, сверх возложения на посвящаемого своих правых рук, держат еще над его головою открытое Евангелие письменами вниз.

Брак.— Таинство брака совершается среди церкви пред аналоем, на котором находятся Крест и Евангелие, и при этом бывает сначала *обручение*, а вслед за ним *венчание*. Обручение совершается так. Жених становится по правую сторону, а невеста — по левую. Священник трижды благословляет их зажженными свечами и дает им в руки эти свечи, как знаки супружеской любви, благословленной Господом. После молитв к Богу о даровании всяких благ и милостей обручаемым и чтобы Он благословил их обручение, соединил и сохранил их в мире и единомыслии, священник благословляет и обручает их кольцами, заранее положенными на престол для освящения. Жених и невеста принимают эти кольца, как священный залог и знак нерушимости того супружеского союза, в который они хотят вступить. За обручением следует венчание. При этом священник молит Господа благословить брак и ниспослать на вступающих в него Свою небесную благодать. Как видимый знак этой благодати, он возлагает на них венцы, а потом трижды благословляет их обоих вместе, произнося: «*Господи, Боже нашъ, славою и честію вѣнчай я!*» (то есть их). В читаемом послании апостола Павла говорится о важности таинства брака и о взаимных обязанностях мужа и жены, а в евангелии — о присутствии Самого Господа на браке в городе Кане. Сочетающиеся браком пьют вино из одной подаваемой им чаши в знак того, что с этих пор они должны жить единомысленно, деля вместе радость и горе. Троекратное же хождение их вслед за священником вокруг аналя служит знаком духовной радости и торжества.

Елеосвящение.— Это таинство иначе называется *соборованием* и совершается над больными для исцеления их от немощей душевных и телесных. Для совершения его *собирается* семь священников, хотя по нужде может совершить его и один священник. В блюде с пшеницею помещается небольшой сосуд с елеем, как знаком милости Божией, а к елею прибавляется красное вино в подражание «милосердому самарянину» и в напоминание пролитой на кресте крови Христовой; вокруг же этого сосуда ставятся в пшеницу зажженные восковые свечи и между ними семь палочек, обвитых на одном конце ватой и служащих для семикратного помазания больного. Всем присутствующим раздаются зажженные свечи. После молитв об освящении елея и о том, чтобы он, по благодати Божией, послужил больному во исцеление немощей душевных и телесных, читаются семь избранных мест из книги апостольских и семь евангельских повествований. По прочтении каждого евангелия, священник крестообразно помазывает у больного чело, щеки, грудь, руки,

произнося в то же время молитву к Господу, чтобы Он, как врач душ и телес, исцелил Своего больного раба или рабу Свою от телесных и душевных немощи. После седьмого помазания священник раскрывает Евангелие и, держа его письменами вниз, возлагает, — как бы исцеляющую руку Самого Спасителя, — на голову болящего и при этом молит Господа о прощении всех его грехов. Затем больной целует Евангелие и Крест, и этим оканчивается совершение таинства елеосвящения.

Свободное слово — для свободных людей В России продолжается подписка на журнал «ПОСЕВ»

Друзья!

После многолетней борьбы и нелегального положения журнал «Посев» добился права на открытый доступ к отечественному читателю. Но журнал мы можем выпускать пока ограниченным тиражом, и купить его в розничной продаже трудно. Как сделать так, чтобы журнал, за которым ранее охотилось специальное подразделение КГБ, попадал на стол быстро и надежно?

Подписывайтесь на него!

Вы можете оформить подписку на журнал «Посев» на 1993 год в любом отделении связи.

Наш индекс по каталогу «Роспечати» — 73308 (раздел «Журналы»).
Стоимость подписки на год — всего 36 руб., на полгода — 18 руб.
Журнал выходит шесть раз в год.

Редакция расположена во Франкфурте-на-Майне (Германия), филиал редакции — в Москве, корреспондентские пункты — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новгороде, Новосибирске и других городах великой России.

«Посев» — это аналитические и дискуссионные, правдивые и острые материалы по вопросам политики, экономики, социальных проблем и культуры.

«Посев» — это изложение идей российских солидаристов, это — разговор о путях к солидарности и свободе.

«Посев» — это конструктивные предложения к обустройству России, это поиск путей служения Отечеству.

«Посев» — это пристальный и честный взгляд в прошлое России; без такого анализа нельзя строить ее будущее.

«Посев» — это правдивая информация об НТС, о его истории и его нынешней деятельности.

Мы были и будем свято верны давно избранному девизу журнала — словам выдающегося сына России князя Александра Невского:

«Не в силе Бог, а в правде!»

Вы хотите быть нашими постоянными читателями?

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ПОСЕВ»!

СОЛХАТ, ТАВРИКА, ИЛИ КРЫМ

В. А. БУШАКОВ,

действительный член Географического общества

Свое древнейшее название *Таврика* Крымский полуостров получил от греков по имени народа *тавров*, жившего в горной и южнобережной его частях. В степном районе полуострова обитали легендарные киммерийцы, которых затем сменили скифы. Неизвестно, было ли имя *тавры* самоназванием народа или так их называли только греки. Первые сведения о таврах и Таврике мы находим в «Истории» Геродота (V в. до н. э.). Позднее, в I в. н. э. римский ученый Плиний Старший, описывая Крым в своей «Естественной истории», также именует его Таврикой и упоминает имеющиеся там города: *Каркина* — современная Евпатория, *Гераклея Херронес* — Херсонес на территории современного Севастополя, *Плакия* и *Симболом* — Балаклава, *Паитикапей* — Керчь.

Первоначально Таврикой называлась только часть Крыма, занятая таврами. Затем имя Таврика (или *Таврида*) перешло на весь Крымский полуостров.

Древнее название *Таврида* было установлено для Крыма после присоединения Крымского ханства к Российской империи в 1783 году. *Таврической* называлась губерния, в которую, кроме Крымского полуострова, входили расположенные на материке Бердянский, Мариупольский и Днепровский уезды.

В VII—VIII вв. на восточный Крым распространялась власть *Хазарского каганата*, поэтому генуэзцы, владевшие в XIV—XV вв. колониями в Крыму, называли последний *Газарией*. Генуэзцы отдавали предпочтение древним географическим названиям.

Когда же и как появилось название *Крым*? На этот счет существуют несколько точек зрения. Так, выдающийся востоковед академик В. В. Бартольд в статье «Крым» писал: «Это название (неизвестного происхождения) получил сначала, в XIII в., город Солгат или Солхат, ныне Старый Крым, тогда резиденция монгольского наместника, находящийся в глубине страны, юго-западнее Кафы [совр. Феодосия. — *Ред.*] и северо-восточнее Судака. Старое название было вытеснено новым около конца XIV в. или в начале XV в. <...>. Считается, что местоположение этой крепости соответствовало положению Солгата» (Сочинения. Т. 6. М., 1965). Этой же точки зрения придерживался и археолог А. Л. Якобсон, считая, что вначале Крымом татары стали называть город Солхат, где со

второй половины XIII века обосновалась татарская администрация. Затем название города распространилось на весь полуостров (Крым в средние века. М., 1973).

Шведский историк Йоганн-Эрих Тунманн в книге «Крымское ханство» писал, что город Старый Крым (крым.-тат. *Эски Къырым*) назывался в команский период *Солгатом* и известен под этим именем впоследствии у итальянских и арабских писателей. Название *Крым* («Крепость»), которое стало и названием полуострова, город получил впервые при татарском владычестве (Симферополь, 1936).

Академик П. И. Кеппен отметил, сославшись на немецкого ученого и путешественника Йоганна-Рейнголда Форстера, говорившего на 17 языках, что *Крым* по-монгольски значит «крепость» и что монголы Великую Китайскую стену называют *Саган-Керм* «Белая стена» (О древностях Южного берега Крыма и гор. Таврических. СПб., 1837).

Из монгольского термина *керем* (*кермен*) «крепость, крепостная стена, кремль», к которому восходит тюркское *кермен* «крепость» объяснял топоним *Крым* и видный советский ученый Э. М. Мурзаев (Опыт объяснения названия «Крым». Известия Всесоюзного географического общества СССР. 1948. Т. 80, № 3).

Итак, захватившие Крымский полуостров монголы могли называть город Солхат «с крепостью, окруженною древнею и высокою толстою стеною», по описанию побывавшего в Крыму в 1578 году польского посла Мартина Броневского, просто *крепостью*, а со временем нарицательное *керем* могло превратиться в собственное название города. Броневский отметил, что «татары от этого города называются крымскими». Тунманн также считал, что «по городу Крыму, где монголы вели большую торговлю, весь полуостров, особенно у восточных авторов, стал называться этим и теперь еще обычным именем». Когда же имя города перешло на полуостров, то город для отличия и по его древности стали называть *Старым Крымом*.

Непонятное монгольское **Керем* татары могли сблизить с тюркским словом *къырым* «ров», что не удивительно, поскольку и ров, и стена служат ограждением и преградой. К тому же есть основания предполагать генетическое родство монгольского *керем* и тюркского *къырым*.

Тюркское *къарам*, *къарым* и *къырым*, зафиксированное в «Древнетюркском словаре» (Л., 1971), имеет значение «яма, ров». Современное туркменское *гарым* значит «ров», «яма (для silосования корма, засыпки зерна и т. п.)», азербайджанское *гарым* — «углубление для разведения огня», «канава, вырытая вокруг помещения для стока воды», «ров, вырытый для забора». Как монгольское *керем* (сравните тувинское *херим* «забор», заимствованное из монгольского), так и тюркское *къарам* (*къарым*, *къырым*) могут восходить к древнеиранскому *карана*-«конец, граница, край», давшему персид-

ское *каран* «край, рубеж, граница, предел», осетинское *горен* «ограда, стена», афганское *карана* «край, предел» и т. п.

Таково одно из возможных объяснений возникновения топонимов *Крым* и *Старый Крым*.

Грек Ф. А. Хартахай, выступивший с речью на похоронах Тараса Шевченко и несший с другими студентами гроб с телом поэта на Смоленское кладбище в Петербурге, написал интересную работу «Историческая судьба крымских татар» (Вестник Европы. 1866. Т. 2), в которой затронул происхождение топонима *Крым*. Он предложил собственную этимологию, объясняющую название города, «построенного в живописной местности», из слова арабского происхождения *керим* «благодать». *Керим*, однако, значит «благодарный, щедрый», а понятие «великодушие, благородство, щедрость» выражается в крымско-татарском языке словом *керем*. Хартахай также полагает возможным объяснять название города из монгольского *керем* «стена», поскольку, мол, он находится у Яйлинского хребта, который «как бы стеною отделяет татар от Южного берега, куда они хотели, но не могли проникнуть <...> Что же касается до слова *эски*, то, означая «старый, древний», оно служит только эпитетом, напоминающим минувшую славу его, после перенесения столицы в Бахчисарай».

Турколог В. Д. Смирнов полагал, что чагатайское *кырым* «ров, окоп» более всего можно применить к известному имени города и полуострова. Он пишет, что эту точку зрения высказывал и востоковед А. Я. Гаркави, и напоминает, что П. И. Келлен писал в «Крымском сборнике» о древнем рве, находящемся с северной стороны Старого Крыма, который прослеживался и в 1884 году, и делает вывод, что «татары название замечательного в данной местности рва — *кыырым* — придали в качестве имени и самому городу, около которого он находится». Косвенным подтверждением такой этимологии ойконима и хоронима *Крым* ученый считает название *Перекоп*, которое «есть только перевод татарского *кыырым*». Название *Перекоп* относится, правда, к другому месту. По *Перекопу* русские и поляки называли крымских татар *перекопскими*, что может быть приписано, по мнению В. Д. Смирнова, семантическому сходству названий *Перекоп* и *Крым*.

О городе и стране *Крым* в XIV в. свидетельствовали арабские писатели. В московских дипломатических документах название *Крым* употребляется с конца XV в. Второе название города *Крыма* — *Солхат* — не известно русским письменным памятникам, но было хорошо известно византийцам, генуэзцам и арабам. Название *Солхат* не встречается ни на татарских монетах, чеканенных в Крымском ханстве, ни в татарских грамотах, что, считает В. Д. Смирнов, «не может быть делом простой случайности».

Относительно происхождения определения *Эски* («Старый»), которое появилось, вероятно, не ранее XVII века, В. Д. Смирнов пишет, что

оно «обязано своим возникновением, по всей видимости, творческим свойствам местной народной речи. Город Крым, бывший Солхат, некогда славился обширностью своего строения и множеством населения. Этот выдающийся его признак не только наблюдался заезжими иностранными путешественниками, но не ускользнул и от внимания более близкого к нему татарского люда, который и отметил этот признак особым эпитетом в своих словесных произведениях».

Ученый допускает также, что название *Эски-Крым* могло возникнуть из *Яссы Кырым* («Широкий Крым»), как в своих песнях ногайцы называли Крымский полуостров, а возможно, что и сам город Крым.

Иной точки зрения придерживаются О. И. Домбровский и В. А. Сидоренко. Поскольку, по письменным источникам XIII в., название целой области Крым якобы предшествует самым ранним упоминаниям об одноименном городе, они не исключают, что «само название пошло от Перекопского рва, отделяющего полуостров от материка» (Солхат и Сурб-Хач. Симферополь, 1978).

Здесь необходимо заметить, что *Перекопский ров* татары и турки называли *Ор* («ров, окоп»), а не *Къырым!*

Нельзя связывать название города *Солхат* (*Сургат* у крымских армян) с названием армянского монастыря *Сурб-Хач* («Святой крест»), основанного в 1338 году в пяти верстах от города, так как маловероятно, чтобы армяне сами исказили название монастыря. К тому же название *Солхат* упоминал Абу-л-Фида, умерший в 1331 году, то есть еще до основания монастыря. Армянское *Сургат* повторяет генуэзскую форму *Сургати*, которая является фонетическим вариантом итальянского названия этого города — *Солкати*. Переход латинского звука *l* в *r* встречается в романских языках. Он характерен и для лигурийского диалекта итальянского языка, на котором говорили генуэзцы.

О. И. Домбровский и В. А. Сидоренко также высказали предположение, что *Солхатом* — «левой, т. е. восточной, стороной» — могла называться оказавшаяся во владении татар часть полуострова, административным центром которой стала окруженная рвом (отсюда название *Крым*) ставка золотоордынского наместника, а впоследствии город, название которого *Солхат*, сохранившееся у генуэзцев, перестало удовлетворять татар.

В «Истории генуэзских колоний в Крыму» (Одесса, 1837) Н. Н. Мурзакевич употребляет только одно написание названия города — *Солкати*. А ойконим *Солкати* может быть объяснен как форма множественного числа итальянского слова *solcáta* (мн. число — *solcáte*) «борозда» (Н. А. Скворцова, Б. Н. Майзель. Итальянско-русский словарь. М., 1963).

Примечательно, что ойконим *Солкати* имеет семантическую параллель в названии древнего портового города *Сулки* (теперь

Сульчис) на юго-западном побережье Сардинии. *Sulci* — это форма множественного числа латинского слова *sulcus* «борозда, ров (!), колея», которое сохраняется в итальянском *solco* «борозда, колея». Генуя владела Сардинией с 1015 по 1296 год, в связи с чем возникает вопрос, не могли ли генуэзцы перенести сардинский ойконим в Крым в несколько видоизмененной форме, сохранив при этом его семантическое значение.

Итак, итальянская этимология топонима *Солкати* дает полное основание отказаться от этимологии топонима *Крым* из монгольского *керем* «крепость, городская стена, замок» в пользу его этимологии из тюркского *къырым* «ров». Поскольку же топонимы *Солкати* и *Крым* взаимно объясняют друг друга, являясь по сути одним названием на двух языках — итальянском и тюркском, — возникает вопрос, как они появились. Одновременно или один из них калькирует другой, более ранний? История, видимо, уже никогда не даст однозначный ответ, и придется довольствоваться лишь более или менее вероятными догадками и предположениями.

Если принять во внимание сообщение Сейида Мухаммеда Ризы (Семь планет. Казань, 1832), что город основали генуэзцы с согласия, естественно, татарской администрации, то, называя его на своем языке *Солкати*, или *Сургати*, они выражали тем самым свой суверенитет над принадлежащей им частью города. Татары же названием *Крым* выражали свое право на владение всем городом.

Склоняясь к точке зрения В. Д. Смирнова, что в топонимах *Солкати* и *Крым* отражено существование в прошлом какого-то примечательного рва, выскажу все же предположение, что они могли возникнуть в связи с ритуалом закладки нового города. Такой ритуал существовал в Италии у этрусков, у которых его заимствовали латиняне, а в измененном виде он мог сохраняться и у генуэзцев.

Обратимся к Плутарху, который так описывает основание вечного города Рима: «Узнав об обмане, Рем рассердился и, когда Ромул копал ров, которым он хотел окружить стену будущего города, стал то смеяться над его работой, то мешать ей. Наконец, он перепрыгнул через ров и был убит на месте. <...> Ромул похоронил Рема и своих воспитателей на Ремонии и занялся постройкой города. Он вызвал из Этрурии людей, которые дали ему подробные сведения и советы относительно употребляющихся в данном случае религиозных обрядов и правил, как это бывает при посвящении в таинства. Возле нынешнего Комиция был вырыт ров, куда положили начатки всего, что считается по закону чистым, по своим свойствам — необходимым. В заключение каждый бросил туда горсть принесенной им с собою с родины земли, которую затем смешали. Ров этот по-латыни зовут так же, как и небо — мундус. Он должен был служить как бы центром круга, который был проведен как черта

будущего города. Основатель города вложил в плуг сошник, запряг быка и корову и, погоняя их, провел глубокую борозду, границу города. Кто шел за ним, должен был заворачивать борозды, проведенные плугом книзу, наблюдая за тем, чтобы ни один комок не лег на другую сторону борозды. Эта черта означает окружность городской стены и называется с выпадением некоторых букв «помериум» вместо «постмериум», т. е. пространство вне и внутри городской стены. На месте предполагаемых ворот сошник вынимали и приподнимали плуг, вследствие чего оставалось пустое пространство. На этом основании вся стена, кроме ворот, считается священной: ворота не считаются священными, иначе религиозное чувство не позволяло бы в таком случае ввозить или вывозить то, что необходимо, но не считается по закону чистым» (Избранные жизнеописания. М., 1987).

С подобным *священным рвом* и может быть связано происхождение названия города *Солкати-Крым*.

В пользу предположения, что название городу дали генуэзцы, а татары уже перевели это название на свой язык, говорят особенности генуэзских и татарских топонимов Крыма, которые подметил большой знаток крымской истории археолог и нумизмат А. Л. Бертъе-Делагард в «Исследовании некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде»: «Искажая имена поселений в Крыму, часто до неузнаваемости, генуэзцы при этом всегда брали в основу только греческие названия, или вообще древние, никогда не переводя их значение на свой язык [исключение — Аккерман в Бессарабии]. Татарские названия они заимствовали только в случае неимения более старого. Монголо-татары поступали иначе, давая всем городским поселениям (кроме Кафы) свои осмысленные названия. Такое же отношение тюркских племен вообще к географической номенклатуре указано для всей Азии (L. Cahun. Turcs et Mongols, 31—32). Это значение может служить некоторым указанием времени основания городов, в смысле до татарского или после него» (Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1914). Далее Бертъе-Делагард привел название *Солхат* как генуэзское, а *Солкат* как татарское. Название же *Крым* почему-то отсутствует.

Не стану утверждать, что предложенные в статье генуэзская этимология ойконима *Солкат* и тюркская этимология ойконима и хоронима *Крым* являются окончательными, но они, по меньшей мере, являются выходом из некоего замкнутого круга, в котором оказывались все, кто прежде пытался разгадать тайну их происхождения.

Аскания-Нова,
Херсонская область



Речь и молчание в сказках Пушкина

Д. Н. МЕДРИШ,
доктор филологических наук

Молвить, м^олвливать что, *вост.* баить,
говорить, сказывать; пртвп. молча^ть.

Толковый словарь В. И. Даля

В каждом фольклорном жанре существуют свои правила речевого поведения, регулирующие определенное для каждого жанра соотношение между словом и действием. На одном полюсе фольклорного речевого мира находится волшебная сказка, на другом — лирическая песня. Если героиня лирической песни произнесет: «Полечу я пташкой...», то из этого вовсе не следует, что она тут же превратится в пташку и улетит. Наоборот, таким образом выражена невозможность совершить желаемое — хотя бы на время навестить родной дом. Через воображаемое, явно неосуществимое действие передано реалное чувство тоскующей на чужбине женщины.

В волшебной сказке, напротив, стоит только назвать действие, как оно тут же совершится. Самое удивительное состоит в том, что произнесенное слово реализуется независимо от модальности высказывания. Приказ, естественно, выполняется, но и запрещенное действие тоже осуществляется: происходит нарушение запрета, и сказочный герой отпирает запретную дверь или, вопреки всем предостережениям, пьет водицу из копытного следа. И если клеветник сообщит царю, будто Иван похвалялся достать молодильных яблок, не ждите, чтобы началось расследование, в ходе которого выяснится, что ничего подобного Иван не обещал. Напротив, за словом, пусть

и лживым, тут же последует действие, и молодильные яблоки будут доставлены... Как всякое упомянутое действие неукоснительно осуществляется, так и все происходящее непременно доводится до всеобщего сведения. В сказке обычен клич — шепота она не знает... Два десятилетия назад я охарактеризовал это явление как закон «сказано — сделано» (его обращенная форма: «сделано — сказано»). Воспользуемся и здесь этим определением, тем более что оно уже получило поддержку в научной литературе.

Так обстоит дело в сказке волшебной. В других сказочных жанрах фольклора — в сказке о животных, в бытовой сказке или в сказке-анекдоте — нормы речевого поведения иные, но и здесь закон «сказано — сделано» выступает как исходный, как точка отсчета, а его несоблюдение — как запрограммированное нарушение нормы «чужого» жанра. В бытовой сказке, например, только глупец верит рассказам о чудесах. Один из признаков того, что явление закрепилось в художественном сознании, — наличие пародии на него. В сказке-пародии реализуется действие, упомянутое невзначай — в шутку, сгоряча или по неосторожности, причем результат может оказаться для говорившего весьма неожиданным. Пушкин не случайно занес в свою тетрадь фрагмент народной сказки: «Мать, рассердясь на сына, ему: „Лукавый тебя поберет“». Мальчик исчезает» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. М., 1950. Т. 3. С. 253).

Рассмотрим, как фольклорные законы речевого поведения действуют в сказках Пушкина. И тогда обнаружится, что пушкинские произведения, публикуемые под общим заглавием «Сказки» и, по закрепившейся традиции, в той очередности, в какой они были созданы поэтом, на самом деле далеко не в одинаковой мере сказочны, да и последовательность их, по этому признаку, не всегда совпадает с хронологией.

Для «Сказки о царе Салтане» характерна предельная речевая активность персонажей, прибегающих к тому же и к дополнительным, несловесным средствам общения. При экранизации этой сказки больше всего хлопот достается, вероятно, звукооператору: ведь здесь даже белка, щелкая золотые орешки, умудряется при этом еще и петь: *Во саду ли, в огороде...* В «Царе Салтане» используется все многообразие звуков, от самых тихих до самых громогласных, от нежного плеска морской волны до оглушительного приветствия — колокольного звона — и пушечной пальбы, при помощи которой «кораблю пристать велят». Что же касается закона «сказано — сделано», то в «Сказке о царе Салтане» он действует безотказно. Более того, как и многие другие сказочные компоненты, мотивировка событий, следующих за упоминанием их в речи, здесь обычно удвосна — начиная уже с завязки. Так, обещание родить богатыря осуществляется и в силу сказочного закона, и — дополнительно —

в соответствии с народной приметой: услышанное под окном непременно сбудется. То же удвоение и в другой сцене: просьба заключенного в бочку царевича Гвидона удовлетворяется (*И послушалась волна...*) — и по законам сказочного повествования, и оттого, что выражена она в форме заговора, который, по фольклорной традиции, начинается величанием (*Плещешь ты, куда захочешь, / Ты морские камни точишь...*) и завершается заклинанием (*Не губи ты нашу душу / Выплесни ты нас на сушу!*), а оно уже само по себе, и вне сказки, обладает чудодейственной силой. Пушкин сделал все, чтобы обращение Гвидона к волне звучало как заговор, он учел даже то, что заговор, по традиции, произносится шепотом. Отсюда преобладание в речи Гвидона «шепчущих» звуков: ш—ч—ш—ч—ш...с—с—ш.

В «Мертвой царевне» сказочный мир, по сравнению с «Салтаном», спокойнее, интимнее. И здесь закон «сказано — сделано» властвует неукоснительно — разве что без дополнительных, как в «Царе Салтане», речевых мотивировок. В этой сказке слово наделено удивительной всепроникающей способностью. Только злая мачеха совершила мерзкое дело — а уже «...молва трезвонить стала: / Дочка царская пропала!» А едва успел королевич Елисей пуститься в обратный путь с воскрешенной царевной — «И трубит уже молва: / Дочка царская жива!» Здесь персонажи проявляют проникновенную общительность, так что даже небесные светила вступают в доверительный разговор с королевичем, а взаимопонимание между героями настолько полное, что, например, народную пословицу «Спрос не грех, отказ не беда» персонажи как бы делят между собою: начинают братья-богатыри (*Спрос не грех. Прости ты нас...*), а завершает царевна (*Я не сержуся,— / Тихо молвила она: / И отказ мой не вина*).

Затем следовало бы обратиться к «Сказке о попе и о работнике его Балде». В ней закон «сказано — сделано» если и не действует, то оттого, что это сказка не волшебная, а бытовая, у нее свои законы речевого поведения — их Пушкин не нарушает. Здесь, как это положено бытовой сказке подобного содержания, появляется обманная речь: сказано одно, сделано другое. Явно лукавит поп, когда в начале сказки заявляет: «Ладно. Не будет нам обоим накладно», — ибо втайне он рассчитывает не на обоюдную выгоду, а на дармовую работу Балды. Подлинный хитрец — внешне простодушный Балда, который «идет, сам не знает куда», ловко дурачит чертей то обманными обещаниями, за которыми следуют иные, не соответствующие сказанному поступки (так, предъявляемый чертям заяц — вовсе не тот, что был перед этим выпущен из мешка), то угрозами, которые вообще неосуществимы (*Да жду вон этой тучки, / Зашвырну туда твою палку*). А мнимый хитрец — поп, который

пытался скрыть за словами свои подлинные намерения, сам остается в дураках (*Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной*).

В последующих двух сказках, замыкающих цикл, отклонения от правил речеведения уже выходят за рамки фольклорной традиции. Здесь на первый план выступают иные закономерности.

За многие годы немало сделано для обнаружения фольклорных и литературных источников «Сказки о рыбаке и рыбке», русских и иноземных. Однако ни в одном из них нет как раз того, с чем, благодаря Пушкину, связывается в нашем сознании этот сюжет: нет ни первого желания старухи — получить новое корыто, ни последнего — стать владычицей морскою и помыкать золотой рыбкой. А без этого не было бы и той ключевой фразы, которую в последнее время столь часто повторяют наши соотечественники — историки, политики, экономисты: «у разбитого корыта».

«Сказка о рыбаке и рыбке» — это сказка о несостоявшейся сказке. Ведь в начале повествования старик ведет себя совсем не по-сказочному — начиная с норм речи: «Удивился старик, испугался: / Он рыбачил тридцать лет и три года / И не слыхивал, чтоб рыба говорила». Старик все еще руководствуется обыденным сознанием, которое породило поговорку — «нем, как рыба»; но вот рыбка заговорила — началась сказка. А с последним желанием старухи сказка уходит. Черновики поэта показывают, как упорно искал он в финале решения, фольклору неизвестного (Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.—Л., 1949. Т. 3 (2). С. 1086—1089), — пока не появилось: «Ничего не сказала рыбка...» Там, где по сказочной традиции речь непременно должна была прозвучать, она исчезает. Сказка о золотой рыбке уходит в молчание. Ее завершает немой финал, столь характерный для поэтики Пушкина — достаточно вспомнить заключительную ремарку в «Борисе Годунове».

И, наконец, «Сказка о золотом петушке». Уже первая ее половина не богата на речь персонажей, причем смысл сказанного другими не сразу доходит до сонного сознания царя Дадона. Во второй же части сказки раздаются, да и то изредка, лишь нечленораздельные звуки: «... а девица — / Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» — «Охнул раз...» Тишина на время нарушается, безмолвие остается: «Всё в безмолвии чудесном...» Речь же если и появляется, то в самом неподходящем месте: «Царь завыл: „Ох, дети, дети!“» — то есть запричитал: пусть особая, а все же речь. Но, во-первых, над покойником воют, по традиции, женщины, а не мужчины, во-вторых, в сказке похоронные причитания вообще неуместны. Заметим попутно: Петр Первый специальным «указом о выть» запретил причитания при дворе, — что, кстати, отмечено Пушкиным в его «Истории Петра» (Полн. собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 495, 496), создававшейся одновременно с «Золотым петушком». В этой последней пушкинской сказке (по

существу — антисказке) царь Дадон явно игнорирует фольклорные нормы речевого поведения, начиная с исходной — нарушает им же данное слово: «Я, конечно, обещал, / Но всему же есть граница» (в черновике: «От моих от царских слов / Отпереться я готов» — Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 3 (2). С. 1117). Это нарушение вдвойне: действием не подкреплено слово, во-первых, сказочное и, во-вторых, царское. Нарушены все законы речевого поведения — и жанровые (закон «сказано — сделано»), и общешокольные — достаточно вспомнить утверждение барона Брамбеуса, персонажа народной драмы «Царь Максимилиан»: «Вы сами знаете, господа, / Что царское слово не изменится никогда». Если в «Сказке о царе Салтане» действие закона «сказано — сделано» поддержано удвоенной мотивировкой, то в «Сказке о золотом петушке» этот закон нарушен удвоенным отрицанием.

Итак, пять сказок Пушкина, из которых четыре опубликованы им при жизни и одна («Сказка о попе...») подготовлена к печати, мы расположили в определенной последовательности — по мере ослабления в них действия ключевого для волшебной сказки закона речевого поведения. Остается добавить, что именно в таком порядке выстроил их однажды и сам автор (Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935. С. 266):

- «О царевне Лебеди
- О мертвой царевне
- О Балде
- О Золотой рыбке
- О Золотом Петушке».

Перед нами фрагмент плана предполагаемого собрания сочинений, плана, который поэт не успел осуществить. При таком расположении произведений видны контуры сказочного цикла, в завязке которого — обретенное юным Гвидоном чудесное царство, беседующее, звенящее, поющее, а в развязке — Дадонино царство, обреченное и безмолвное. Может быть, именно в таком порядке и следует печатать пушкинские сказки?

РЕСПОНДЕНТЫ

А. В. ЗЕЛЕНИН,
кандидат филологических наук

Жизнь слов похожа на человеческую судьбу. У одних слов жизнь спокойная, размеренная, без потрясений, у других — бурная, насыщенная, подверженная социальному дыханию времени. Читатель без труда приведет примеры. Но есть еще одна, пусть и немногочисленная, группа слов, жизнь которых странна и непредсказуема. Они появляются в языке, как фантомы, и так же исчезают, потом неожиданно возрождаются, почти не оставляя «следов» предшествующей эпохи в словарях.

Такова история слова *респондент* (лат. *respondeo* — отвечать, *respondens, respondentis* — отвечающий).

Оно не зафиксировано еще в современных словарях, но внимательный читатель уже определил приблизительное его значение из контекстов. В популярных ныне опросах общественного мнения *респондент* значит «опрашиваемый». Слово, на первый взгляд, новое, пришедшее к нам несколько лет назад. Но наши предки могли прочесть его уже в . . . XVIII веке, когда пресловутых опросов и в помине не было. Так что возраст *респондента* в русском языке весьма почтенный — более 200 лет. Но все по порядку...

В начале XVIII века в письмах и бумагах Петра I мы достаточно часто находим слово *респонс*: «Изволь не мешкав быть к нам, также учинить *респонс* о коннице и о артиллерийских служителях против прежнего моего письма» (Письма и бумаги Петра Великого. Т. II. Здесь и далее графика упрощена мной.— А. З.); «И пишет к нам Дашков, что она [Потоцкая] непрестанно упоминается и просит, дабы ваше величество на первое, которое Дашков вам в Смоленск вручил, и на сие *респонс* до нее учинити изволил» (Там же. Т. VII.). Это слово в ходу в окружении Петра и его сподвижников: «И буде что станут новое говорить, а тебе против того выговариваться трудно, то изволь просить времени на описку сюда; и о том изволь писать к нам, на что можешь получить скорой *респонс*» (Г. Ф. Долгорукий — В. Л. Долгорукому. Там же. Т. V.); «Грамота великого государя подана с почты сего февраля 6-го дня, толко еще *респонцыя* не послана» (А. П. Измайлов — П. П. Шафирову. Там же. Т. V).

Читатель уже соотнес слова *респонс* (или русифицированный вариант *респонция*) и *респондент* и, видимо, догадался о смысле первого слова, лежащего в основе второго. Значит оно «ответ». Именно в этом значении слово *респонс* (или еще *респонс*) и фиксируется в словаре, составленном в начале XVIII века «Лексиконе вокабулам новым по алфавиту»: «Респонсь. Ответ. (лист 16 об.)». Свои истоки слово находит в лат. *responsum* с тем же значением. В русский язык оно проникло через посредство итальянского (и, возможно, польского) языка — ит. *responso*. Слово *респонс* употреблялось в начале XVIII века в посланиях и переписке государственных мужей и даже попало в переводные исторические сборники: «Цезарь (...) пошел прямо на реченных немцов, которые удивяся скорости сей, к нему послали послов, дабы договариватись о мире; Цезарь их выслушал тихо и дал им *респонс* доброй» (О войнахъ изъ книгъ Цезариевыхъ... М., 1711).

Однако уже в самом начале своего употребления *респонс* имеет тенденцию к замене его другими словами. Так, в черновом варианте грамоты Петра I к польскому королю Августу II употребляется *респонс* «Ныне, не мешкая на желание вашего величест(в)а *респонс* к послу нашему послали» (Письма и бумаги... Т. II.), а уже в беловом варианте мы находим *решение*. Таким образом, в начале XVIII века образуется дублетный ряд *ответ* — *респонс* — *решение*, в котором средний член (*респонс*) может осмысляться то как «ответ», то как «решение», не неся при этом никакой новой дополнительной смысловой нагрузки. Эта избыточность «выбрасывает» слово из языка, и оно встречается все реже и реже. Слова *респондент* в это время не отмечено.

Первое появление *респондента* относится к 1757 году в «Московских ведомостях» (№ 20). В новостях из Москвы сообщалось, что там проходил диспут, «при чем *респондентами* были, то есть на предложения противной стороны ответствовали двое из помянутых учеников, а именно: Борис Салтыков и Петр Безобразов». Тот факт, что слово *респондент* поясняется для читателей «Московских ведомостей», показывает, что русского эквивалента *ответчик* было явно недостаточно для нового слова, заимствованного с западной школьной терминологией. Если слово *респонс* не нашло специализации в русском языке, то однокоренное с ним — *респондент* — такой специализацией обзавелось и получило ход в языке второй половины XVIII века. Оно выступало в паре со своим терминологическим антонимом *оппонент*, попав с указанием своего латинского происхождения и сферы употребления (в схоластических, или философских, диспутах) в «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту» Н. Яновского, после чего благополучно кануло в Лету, а слово *оппонент* осталось.

«Возрождение» *респондента* (в ином значении и в иной сфере употребления) происходит в наши дни. Оно появляется уже в начале 70-х годов нашего века в работах социологов, причем, важно заметить, без пояснения (подразумевается, видимо, что словом уже владеет основная читающая масса публики, или, по крайней мере, образованная): «...мотив в поисках новых впечатлений (...) значительно больше устроил мужчин: 43% *респондентов* мужского пола усматривают в искусстве источник отдыха и удовольствия» (Лит. газета. 1971. № 30); «Ведь мы с обществом работаем, с че-ло-ве-ком (...) Сегодня *респондент* у меня один, завтра, смотришь, изменилось у него настроение, и он уже совсем другой, и вообще: говорит он одно, думает при этом совсем другое» (Знание — сила. 1975. № 5).

Вошедшие в моду в наши дни опросы населения по самым различным сферам жизни подняли частотность употребления слова *респондент* в печатных изданиях, не только в специальной социологической или научно-популярной литературе: «Поскольку популярность телефонных опросов будет у нас расти, как это происходит в США и некоторых европейских странах, то возможность выступить в роли *респондента* — человека, отвечающего на вопросы анкет, — становится все более вероятной для каждого» (Аргументы и факты. 1987. № 6).

Следует заметить, что происходит даже некоторое расширение зоны употребления слова и выхода его из сферы социологии (т. е. узкопрофессиональной) в общенаучную; слово теряет свою терминологичность: «В изложении „*респондентов*“ одна и та же лекция выглядела каждый раз как совсем другая» (Вопросы философии. 1988. № 3). Происходит даже изменение сочетаемости слова (верный признак освоения слова общепонятным языком), которое пока воспринимается как неверное употребление или речевая неточность (появляется способность данного слова управлять другими): «*Респонденты* управления вневедомственной охраны подавляющим большинством (75%) признали: главный сдерживающий мелкие хищения фактор — бригадная и коллективная ответственность за сохранность госимущества» (Правда. 1989. 19 июня). Но это речевое нарушение может в дальнейшем закрепиться, и слово получит свое последующее развитие — как смысловое, так и словопроизводное.

Такова судьба, необычная и противоречивая, всего лишь одного заимствования в русском языке.

Забытые фразы

Ю. А. ГВОЗДАРЕВ,
доктор филологических наук

Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отскатиться от приобретенного им в течение веков.

(А. Пушкин)

Читая произведения писателей прошлого, мы встречаем непонятные нам слова, а порою и целые выражения: *ждать движения воды; андроны едут; беси в воду и пузырья вверх* и другие. Их общий смысл нередко можно уловить из контекста, но понять трудно, поскольку в современном русском языке они не употребляются. Лингвисты называют эти забытые фразы фразеологическими архаизмами.

Рассмотрим некоторые фразеологические обороты, ставшие теперь архаизмами.

Андроны едут. Во «Фразеологическом словаре русского языка» это выражение приводится, но с пометой «устаревшее». Указаны два его значения: «1. Ерунда, чепуха, вздор, полная бессмыслица { ... } 2. Неизвестно еще, будет так или нет, удастся ли, осуществится ли». Как видим, значения довольно различные, а состав выражения загадочный. Прежде всего, что такое «андроны»?

В. И. Даль в своем знаменитом Словаре слово *андрон* вводит в словарную статью *Андрец*, т. е. как бы признает их родство: «АНДРЕЦ, т. е. *одр, одрец*, искажен. *ондрец кстр. вят.* одноколка с волоками (жердями, которые сзади тащатся), для таски снопов, сена; сноповозка, одрец, одрецы... || *Андрецы*, одрецы *влд.* дровни Андрон м. шест, жердь; || совок, плица, черпак, напр. на свекло-сахарных заводах. *Подпускать андрона ряз.* врать, лгать, хвастать. *Андроны едут тул.* говорится, коли кто некстати важничает и дуется».

Позицию Даля по соотношенности слов *андрец* и *андрон(ы)* разделяли многие этимологи русского языка. Например, Н. Горяев, А. Г. Пресображенский, М. Фасмер. В своем «Этимологическом словаре русского языка» Фасмер даст эти слова в разных статьях, но в статье *Андрон* указывает на сходство значений со словом *андрец*:

«двухколесная повозка с волочащимися жердями для доставки снопов и сена», замечая: «Неясно. Второе знач. дает повод думать о связи с *андрёц*». В «Словаре русских народных говоров» приводятся разные формы с одним и тем же значением: *андрёц*, *андрон*, *ондрёц*, *одрёц*.

Для нас в данном случае не важно родство этих слов. В рассматриваемом выражении использовалось только слово *андроны*, а оно употреблялось для обозначения этой самой повозки.

Нетрудно представить, что такая повозка с волочащимся по земле шестом создавала немалый шум во время движения. А шум без дела обычно связывают с пустым говорением. Вот как будто и найдена образная основа выражения.

В литературный язык (а Даль подчеркивает областнический характер слова и выражения) *андроны едут* вошло в XVIII веке и означало ложь, выдумку. В текстах XIX века выражение употреблялось уже в двух значениях, которые и отражены во «Фразеологическом словаре русского языка». С первым, например, в «Мертвых душах» Гоголя: «Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет. Это выходит, просто: *Андроны едут*, чепуха, белиберда, сапоги всмятку!». Любопытно, что писатель помещает выражение в синонимический ряд, что позволяет точно определить его значение.

Второе значение «неизвестно еще, будет так или нет» также встречаем в текстах XIX века: «А Раиса Павловна что устроит,— говорил кто-то.— Дайте только срок, только бы ей увидаться с Прейном.— Ну, это еще *андроны едут*,— сомневался Майзель» (Мамин-Сибиряк. Горное гнездо).

Исчезновение из словаря слова *андроны*, нужно полагать, способствовало и устареванию выражения *андроны едут*.

Беси в воду и пузырья вверх. Это забавное на первый взгляд выражение означало благополучное завершение какого-то не совсем чистого дела. Оно довольно активно употреблялось в текстах произведений XVIII в.: «Ну, смотри же. Поручительство-то от векселя отрежь, как будто закладу у тебя не бывало; а я вексель Крепышкиной на обороте посколблю, так вот все *беси в воду и пузырья вверх*» (М. Матинский. Санктпетербургский гостиный двор); «Какой он жених? Да он пень. <...> Теперь *все беси в воду и пузырья вверх*» (М. Прокудин. Добродетель, увенчанная верностью); «Ин примиримся <...> хоть один поцелуй брось мне в глаза, так и *все беси в воду*» (М. Веревкин. Так и должно).

Историю этого выражения установить непросто. Скорее всего оно как-то связано с общим отношением людей к воде как к «чистой стихии». Использовалась вода в этом качестве для так называемого «божьего суда», о чем писал Эдуард Тейлор в книге «Первобытная

культура»: «Одним из самых известных испытаний для ведьм было испытание плаванием. Обвиняемую связывали по рукам и ногам и бросали в воду. Она должна была пойти ко дну, если была невинна, или остаться на воде, если была виновна. В последнем случае, как говорится в „Гудибрасе“, она должна быть повешенной за то, что не утонула». Подобное явление наблюдалось и на Руси, как отмечал А. Н. Афанасьев.

Разумеется, никому в голову не могло прийти судить нечистую силу «божьим судом». Но издавна люди стремились избавиться, отгородиться от нее. А эта нечистая сила поселялась и в воде. Афанасьев приводит ряд русских пословиц, говорящих об этом: *Всякому черту вольно в своем болоте бродить; В тихом омуте черти водятся*; приводит он и *Все беси в воду и пузырья вверх*, одновременно замечая: «И огонь, и вода — стихии светлые, не терпящие ничего нечистого: первый пожигает, а вторая смывает и топит всякие напасти злых духов...» (Древо жизни. М., 1982).

Итак, раз бесы ушли в воду, в «чистую стихию», то вреда уже от них быть не должно, а дело успешно завершается.

В наше время это выражение уже не встретишь.

Движение воды чаять (ожидать). Читаем «Былое и думы» А. Герцена: «В конце 1850 года в Ниццу приехал один русский с женой. Мне указали их на прогулке. Оба они принадлежали к чающим движения воды».

Как понимать выражение чающие движения воды? Если учесть ранее сказанное, то можно предположить, что речь идет о каком-то очищении, оздоровлении людей. И это именно так. Выражение берет свое начало из библейского текста. В Евангелии от Иоанна рассказывается о Купальне Вифезда в Иерусалиме, где излечивали больных: «Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-Еврейски Вифезда [дом милосердия.— ред.], при которой было пять крытых ходов;

В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих [чающих] движения воды;

Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью» (Иоанн, 5. 2—4).

В состав русской фразеологии это выражение вошло именно с таким значением «ожидать улучшения здоровья»: «Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды» (М. Лермонтов. Герой нашего времени). Однако далее это выражение стало еще означать ожидание действия вообще: «На другой же день по поступлении он настроил несколько таких писем [о помощи «бо-

лящему». — А. Г.], послал и стал ждать „движения воды”...» (С. Подъячев. Мыгартства).

Строить куры. Выражение это стало активно употребляться в русской речи с XVIII века, когда русские аристократы и помещики стали часто ездить во Францию. В этот период появилось много различных заимствований из французского и это выражение также. Освоение его весьма любопытно.

Во французском языке есть выражение *faire la cour* (фер ля кур), означающее «делать (изображать) двор (высший свет)», и в нем есть еще оттенок «ухаживать за кем-то». Основа образности его в том, что оно иносказательно указывает, как принято вести себя «при королевском дворе». Заметим, однако, что во французском слово *faire* имеет такое значение только в составе этого фразеологизма.

Сначала была попытка перевести выражение дословно, то есть заменить все французские слова русскими эквивалентами: «Пусть ученый человек со всею своею премудростию начнет при мне *строить дворики*, то я его так проучу, что он ото всякой шеголихи тотчас на *четырёх ногах поскочет*» (Н. Новиков. Живописец).

Затем слово *кур* так и осталось в выражении, что и придало ему странный полурусский, полужанцузский вид: «Не то на уме у отца твоего. Я очень уверена, что он нашу деревню предпочтет и раю, и Парижу, словом, он мне *делает свой кур*» (Д. Фонвизин. Бригадир); «Что я могу сказать, не *делая ей кур*, /И тем не делаю немалого я крина» (Я. Княжнин. Чудаки).

В XIX веке выражение употреблялось в художественной литературе как во французском, так и в русском виде. Нужно заметить, что существовало неписаное литературное правило: если, по мнению автора, речь звучала в иноязычном виде правильно, она передавалась по-французски, если искаженно, то в русском написании: «Что же ты не идешь *faire la cour à madame Karenine?* — прибавила она, когда княжна Сорокина отошла» (Л. Толстой. Анна Каренина).

Но уже Гоголь дает выражение в переводе: «Как, неужели он и протопопше *строил куры?*» (Мертвые души); «Пожилая девушка, но знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется *куры строит*, хочет свататься» (Ф. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели); «Уездные барыни, из которых некоторые весьма секретно и благо-разумно *вели куры* с своими лаксями, а другие с дьячками и семинаристами, — барыни эти будто бы нравственно оскорбленные, зашекотали как сороки <...>» (А. Писемский. Тысяча душ).

В последнем случае уже несколько изменено и значение выражения. Кстати, оно употреблялось в XIX веке и в значении «проявлять внимание, делать любезность»: «Учителя, ходящие по би-

летам, опаздывающие по непредвиденным причинам и уходящие слишком рано по обстоятельствам, не зависящим от их воли, *строят немцу куры*, и он при всей безграмотности начинает считать себя ученым» (А. Герцен. Былое и думы).

Кимвал бряцающий. *Кимвалом* назывался музыкальный ударный инструмент в виде двух медных тарелок или чаш, звенящих при ударе их одна о другую. В таком значении встречаем слово, например, в тексте А. К. Толстого, описывающего праздник на Киевской Руси:

У Владимира Солнышка праздник идет,
Пированье идет, ликованье,
С молодницами гридни ведут хоровод,
Гуслей звон и *кимвалов бряцанье*.

Поток-богатырь

Но уже А. Пушкин употребляет слово с иным, переносным значением:

*Поверь: слова невежд пустой кимвала звук,
Они безумствуют — сияет свет наук.*

Это значение восходит к библейскому тексту Первого послания апостола Павла к коринфянам:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий» (13.1).

Значение этого фразеологизма было «торжественно звучащие, но пустые, бессодержательные слова». Например, в статье В. Белинского о драме Хомякова «Ермак»: «Эта речь нисколько не выражала русского духа, а только подобно меди звенящей, *кимвалу бряцающему*, поражала один слух».

Вариантами этого выражения были *кимвальный звон*, *кимвальные звуки*: «Пчеле» / («Северный пчеле») совсем ничего отвечать не станут, и жужжание ее будет только разносимо ветром, как *звуки кимвальные*» (П. Вяземский. Журналистика); «Благодарность, громкое имя... опять скажу, пустые имена, *кимвальный звон*» (И. Лажечников. Последний новик).

Отправить в штаб Духонина. Среди забытых фразеологизмов есть и такие, которые возникли сравнительно недавно, но, прожив короткую жизнь, оказались в забвении. К ним относится и это выражение.

Всплыло оно недавно, когда было, наконец, опубликовано стихотворение Максимилиана Волошина «Терминология», написанное еще в 1921 году:

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» —
Так изменялись из года в год
Речи и быта оттенки.

«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.

Выражение «отправить в штаб Духонина» родилось в кровавые годы гражданской войны. Возникает вопрос: почему именно Духонин? Это собственное имя сегодня нам ничего не говорит. Генерал-лейтенант Духонин Николай Николаевич (1876—1917), нач. штаба при верховном главнокомандующем А. Ф. Керенском, а затем после бегства Керенского, главнокомандующем. Убит, как сообщает «Советский энциклопедический словарь», в конце 1917 года матросами.

Однако фамилия эта была использована неспроста. Она соотносится со словами *дух*, *душа*, а ряд выражений, означающих смерть, включает именно эти слова: *испустить дух*, *отдать Богу душу*. И вот «выпустить дух из кого-то» — *отправить в штаб Духонина*.

Так, в повести В. Ардаматского «Ленинградская зима» молодой майор разговаривает с агентом абвера, сыном белоэмигранта: «Хотите что-нибудь заявить?»

— Куда вы меня отправите? *в штаб Духонина?* — спросил Есипов.

— Простите, не понял.— Майор был молодой и не знал, что в гражданскую войну штабом Духонина именовался расстрел».

И еще один пример: «До Михаила Николаевича доносились отдельные обрывки разговора оставшихся красноармейцев дивизиона. Они обсуждали происходящее... „Тухачевский не грозился расстрелять Беретти! — А ежели он контра, так чего с ним возжаться? *Отправить в штаб Духонина*, не дожидаясь завтрашнего дня!“» (Л. Раковский. Михаил Тухачевский).

Как видим, выражение использовалось, отражая лексику периода гражданской войны.

Враг народа

А. Н. ШУСТОВ

Историк Д. А. Волкогонов в одной из своих работ задал риторический вопрос: «Кто ввел в обиход страшный термин “враг народа”?» И сам же попытался ответить на него: «Хотя термин “враг народа” был в обиходе и раньше, Сталин после 1934 года наполнил его “конкретным содержанием”» (Октябрь. 1988. № 12). Автор не совсем прав: кровавым содержанием этот термин стал наполняться еще до Сталина, так что пальму первенства у кремлевского диктатора придется отнять.

Советолог А. Авторханов также сделал попытку найти истоки: «Этот термин Ленин впервые употребил как криминальное обвинение против партии русского классического либерализма и демократии — против кадетов — буквально на второй же день после прихода к власти» (Новый мир. 1991. № 1).

Попробуем разобраться в исторической ситуации, обратившись к Великой французской революции.

Сначала был «Друг народа» («L'Ami du peuple»). Так назвал свою газету, первый номер которой вышел 12 сентября 1789 года, один из руководителей французской революции Ж.-П. Марат. Этот же почетный титул получил и он сам. Интересно, что годом раньше Марата в России Д. И. Фонвизин намеревался издавать сатирический журнал «Друг честных людей, или Стародум», а Пушкин, как известно, считал Фонвизина «другом свободы». Не исключено, что для названия своей газеты Марат использовал слово *друг* в том политическом смысле, который придавали ему древнеримские авторы: «Dejotarus ex inimico amicus, unus fidelis populo Romano» — друг, преданный римскому народу, «socius atque amicus populi Romani» — друг римского народа (Сокращенный латинский словарь. М., 1862); «...я захотел обратить свои стенания и жалобы не к римским гражданам, не к друзьям нашего народа(...), а к скалам...» (Цицерон. Избр. соч., М., 1975).

Термин *друг* быстро превратился в оценочный: все сторонники революции стали считать себя *друзьями свободы, друзьями народа*.

Противники же получили названия *врагов свободы, врагов нации, врагов родины, врагов государства — врагов народа* (*ennemi de libertes, ennemi l'Etat, ennemi public, ennemi de peuple*). Этими словосочетаниями насыщены речи М. Робеспьера и его сторонников.

С развитием революции «врагов» у нее становилось все больше. У французских якобинцев были внешние и внутренние враги, с которыми они не церемонились: «Те, кто ведет войну против народа с целью остановить развитие дела свободы и уничтожить права человека, должны быть преследуемы всеми не как обыкновенные враги, а как убийцы и мятежные разбойники» (Робеспьер М. Избр. произведения. М., 1965). Разделение нации было упрощено до предела: «Во Франции остались лишь две партии — народ и его враги. (...) Кто не за народ, тот против народа» (там же).

Декрет Конвента от 10 июня 1794 года пояснял: «Врагами народа являются те, кто посягает силой или хитростью на общественную свободу. Объявляются также врагами народа: лица, которые призывают к восстановлению королевской власти, покушаются унижить или распустить национальный Конвент и революционное республиканское правительство, центром которого он является...». В другом декрете подчеркивалось, что «речь идет не столько об их наказании, сколько об их уничтожении» (Революционное правительство в эпоху Конвента. М., 1926). Несколько сот тысяч человек различных сословий стали жертвами якобинского террора!

Родившееся двести лет назад в Париже словосочетание *друг/враг народа* являлось лексическим неологизмом. Во Франции синонимом *врага* зачастую выступали существительные «мятежник, бунтовщик» (*séditieux, fauteur de troubles*). Смысл слова *враг* в таком широком значении (по отношению ко всему народу!) русскими словарями не определяется. Теоретически это должен быть антоним слова *друг* в значении *опекун, покровитель, защитник*, это — некий «супер-враг». С ним синонимически может сравниться разве что «враг рода человеческого», т. е. дьявол, сатана (именно к нему восходит старославянское *врагъ*)! Или «персональный злодей» огромного масштаба, например, Наполеон: «Радуйся, Царство Русское! Всемирный враг пред тобою уклоняется, богатырской твоей силой истребляется!» — писал в 1812 году Московский главнокомандующий Ф. В. Ростопчин (Сочинения. СПб., 1853).

Долгое время в русском языке понятия *внутренних и внешних врагов* были политически нейтральными. Но прошло время и революционная французская фразеология проникла в Россию. Эти выражения стали превращаться в формулы обвинения, в политические ярлыки. Вспомним, как ефрейтор Сероштан в повести А. И. Куприна «Поединок» поучает солдат: есть враги «внутренние» и «внешние». «Внешние» — понятны. А «внутренними врагами мы

называем усех сопротивляющихся закону». К ним относятся, добавляет другой персонаж, Овечкин: «бунтовщики, студенты, конокрады, жида и поляки!». Как видим, враг начинает обрисовываться, принимать политически негативную окраску. Позже, во время первой мировой войны, он сконцентрировался в собирательной формуле — *враг отечества*.

В 1882 году норвежский драматург Г. Ибсен написал пьесу «Враг народа» («En folkefjende»), главный герой которой, курортный врач, высказал прогрессивные мысли об оздоровлении общественной жизни, построенной на лжи. Но его предложения вызвали протест «либерального большинства», которое после «голосования» объявило его «врагом народа» как человека, готового «разорить общество». «Они сказали, что я враг народа, так и пусть я буду врагом народа!» — гордо принимает на себя это политическое клеймо доктор Стокман (Ибсен. Г. Собр. соч. Т. 3. М., 1957). Пьеса Ибсена была хорошо известна в России еще с 1890-х годов. Она неоднократно ставилась в крупнейших театрах России. Русскому обществу было созвучно чувство социального протеста норвежского доктора.

Друзьями народа не без внутреннего основания считали себя русские интеллигенты-народники. В романе И. С. Тургенева «Новь» (1877) они рассуждают так: «Мы только с врагами нашими знаться не хотим, а с людьми нашего пошиба, с народом, мы вступаем в постоянные сношения». В книге «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» (1894) В. И. Ленин писал: «Претендуя вообще в своем журнале представлять идеи и тактику истинных „друзей народа“, эти господа являются отъявленными врагами социал-демократов» (ПСС. Т. 1). Весьма знаменательные слова. Если народники — «друзья» (в кавычках), значит, на самом деле они не друзья (подлинный друг кто-то другой). А раз они не друзья, значит, — враги. Кого? Того, кто является истинным другом народа, его плотью, т. е. социал-демократов. И сказано это было еще до основания РСДРП! Позже Ленин подчеркнул, что и буржуазную демократию тоже нельзя считать «другом народа» (ПСС. Т. 11).

Якобинская идея «кто не с нами, тот наш враг» была подхвачена русскими народниками. Позже она прочно стала входить в политическое сознание российских социал-демократов (а затем и большевиков: «Если враг не сдается, его уничтожают»). Непримируемость к классовому врагу была четко провозглашена в годы первой русской революции. Поэт Н. М. Минский в «Гимне рабочих» (1905) восклицал: «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть».

Политический смысл слитного словосочетания стал проявляться в России в самом начале 1905 года: после кровавого воскресенья

(9 января) лидер кадетов П. Б. Струве назвал «врагом и палачом народа» Николая II.

Интересно сопоставить толкования слова *враг* в словарях Я. К. Грота (1891) и Д. Н. Ушакова (1935): *неприятель, супостат, противник* (Грот); *человек, борющийся за иные, противоположные интересы, противник* (и приведены характерные для того времени примеры: *классовый враг, идейный враг*. Ушаков.). Разница существенная. На каком же отрезке русской истории произошла эта идейно-смысловая перемена?

В своем зловещем смысле *враг народа*, т. е. враг передового революционного класса (затем его авангарда — партии) и революции в целом, словосочетание обрело новую жизнь через неделю после Февральской революции. А. Ф. Керенский, выступая в Московском Совете 9 марта 1917 года, говорил: «...впереди толпы стояли подозрительные люди, которые требовали казни арестованных сановников. Это были — враги народа! (...) которые хотели бы в крови утопить величественное дело свободы» (Солженицын А. И. Март Семнадцатого // Дружба народов. 1990. № 6).

Жестокие слова были произнесены и опубликованы от имени революции (Февральской!) и упали они на благодатную почву. Сразу после Октябрьской революции (11 ноября) главковерх Н. В. Крыленко в своем приказе объявил генерала Н. Н. Духонина врагом народа. Однако этот неологизм как слитная формула обвинения еще не был понят. О том же Духонине в те же дни либеральный журнал писал: «Его объявили (...) изменником народу» (Русское богатство. 1917. № 11—12). Несколько позже врагом народа был объявлен генерал П. Н. Краснов, ратовавший за суверенитет казачества. Все арестованные и заключенные в Петропавловскую крепость министры бывшего Временного правительства также без всякого суда получили «статью обвинения» — *враги народа*, что вызвало понятное недоумение общественности (см. запись в дневнике З. Н. Гиппиус от 30 ноября 1917).

Если в конце XIX века народники были названы Лениным врагами только социал-демократов, то после того как часть социал-демократов превратилась в правящую партию большевиков, олицетворявшую, по их собственному мнению, весь народ, оппозиционная им партия кадетов (все члены партии без разбора!) Декретом от 28 ноября 1917 года была объявлена как партия врагов народа: «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов».

Уже с конца 1917 года термин *враг народа* стал широко распространенным, он превратился в формулу обвинения. При этом образы врагов множилось и «уточнялись»: «... кому помогает теперь

та интеллигенция, те правые с.-р. и меньшевики, которые к Волге и Уралу приковывают сейчас сотни тысяч наших солдат?» — вопрошал Г. Е. Зиновьев в 1918 г. И сам же отвечал: «они играют на руку мировому империализму, они — „враги народа”» (Интеллигенция и советская власть. М., 1919). И вот уже русский интеллигент «ныне насильно отторгнут от жизни и даже объявлен врагом народа», — свидетельствовала газета М. Горького «Новая жизнь» (1918. 30 [17] июня). В этот период Ленин требовал: «Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся» (ПСС. Т. 35). Число примеров может быть умножено. Мы же ограничимся лишь еще одним — из популярной песни 1917 года:

Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обогрим... (курсив мой. — А. Ш.)
Песни *народного* гнева

Как видим, идея стала овладевать массами. Широкое толкование слов *враг* и *народ* вело к перегибам и злоупотреблениям. Под эту рубрику можно было подвести любого человека. Напомним, что с ярлыком *враг народа* в августе 1921 года был расстрелян поэт Н. С. Гумилев. Поскольку понятие *народ* довольно расплывчато, то зачастую (уже в начале 1920-х годов) к нему добавлялось определение «трудовой» — *враг трудового народа*.

В разгар сталинизма клеймо *враг народа* означало гибель, в том числе и физическую. По жестокой иронии судьбы страдали и те, кто ранее сам занимался подобным клеймением. На заседании Учредительного собрания (январь 1918) Ф. Ф. Раскольников открыто назвал эсеров *врагами народа*. Спустя 20 лет это обвинение большевики «вернули» ему самому. Солженицын обоснованно отнес этот термин к формулировкам, «насилующим разум». После произнесения их человек становится как бы прокаженным, заразным (Раковый корпус).

Если термин *враг народа* был изобретен и опорочен задолго до того, как Сталин стал главой партии и государства, то его «теоретическое обоснование» и оправдание принадлежит Сталину и его идеологам. «Политический словарь», приведя большой перечень «врагов» и одобряя процессы против них, завершает статью словами В. Молотова: «У нас стало привычным (! — А. Ш.), что врагов коммунистической партии и советской власти считают врагами народа» (М., 1940). Как справедливо отмечает Т. А. Яцюк (Русская речь. 1991. № 3), словосочетание *враг народа* примыкает к псевдотерминам сталинской юриспруденции, имеющим «крайне расплывчатые значения» и обладающим «высокой степенью эмотивности».

После XX съезда КПСС, на котором был разоблачен культ личности Сталина, казалось бы, термин *враг народа* должен быть

исключен из политического и социального лексикона. Однако после хрущевской оттепели преследование инакомыслящих и несогласных с «генеральным курсом» продолжилось. *Враг народа* хотя и перестал быть «юридической формулой» обвинения, но политическим ярлыком, к сожалению, он является и сегодня. Любители искать врагов не исчезли с провозглашением курса на демократизацию общества. «Отныне убийцу каждого грузина ... объявить врагом грузинского народа», — заявил в октябре 1990 года патриарх (!) всея Грузии Илия II (Ленингр. правда. 1991. 22 мая); «В последних номерах коммунистических изданий (...) пальцем показывают на врагов народа» (Россия. 1991. № 27).

Словосочетание все еще активно живет в языке: «Новый враг народа найден: это бывший друг человека. Всегда кто-то виноват в наших бедах: интеллигенты, евреи, приезжие. Теперь вот — собаки» (Час пик. Л., 1991. 7 января). «Не надо видеть врагов народа в больных СПИД'ом» (ЦТ. 1991. 10 февраля).

У *врага народа* в последние годы появился более «дипломатичный» синоним — *образ врага*: «Мы словно закодированы на жизнь по программе „враг“: ждем друг от друг только подвоха, лелеем чувство страха, ищем в каждом образ врага — в соседе по переполненному трамваю, в сослуживце, в членах своей же семьи» (Ленингр. правда. 1991. 15 июня); «Сейчас целенаправленно формируется новый образ врага — коммунисты» (Раб. трибуна. 1991. 20 февр.); «Спустя пятьдесят с лишним лет на местах усиленно создается образ врага — депутата» (Известия. 1990. 16 ноября) и т. д.

Списать привычные термины в разряд исторических пока не удается. Еще в 1918 году М. Горький писал о русском головотяпе, «который в трудный день жизни непременно ищет врага своего где-то вне себя, а не в бездне своей глупости» (Несвоевременные мысли). И сегодня подобные искатели «собственное душевное уродство искренне переносят на тех, кого назначили (! — А. Ш.) своими врагами и врагами Отечества» (Час пик. Л., 1991. 14 янв.). Не случайно кратковременный руководитель союзного КГБ В. Бакатин одним из направлений реорганизации этого ведомства считал «отказ от идеологии чекизма, отказ от постоянного поиска врага» (Известия. 1992. 2 янв.).



КТО ТАКИЕ ФРЕБЕЛИЧКИ-САДОВНИЦЫ?

Л. Н. МАЛЯРЕНКО

Фребеличка-садовница... Что зашифровано в этом словосочетании? Еще в начале века выражение было обычным. Первая часть его заставляет нас обратиться к имени немецкого педагога Фридриха Фребеля (1782—1852). Он организовал в Германии первые учреждения для общественного обучения и воспитания детей дошкольного возраста (фребелевские детские сады). Появились и учебные заведения, готовившие работников для этих детских садов: «Образование и подготовка дошкольных работников в Германии представляет собою довольно стройную систему(...). Низшую ступень педагогической дошкольной подготовки образуют одногодичные курсы, выпускающие девушек-фребеличек(...), на следующей ступени стоят няньки-фребелички(...). Третью ступень образуют садовницы, составляющие основной кадр руководительниц детских садов» (Пед. энци.: В 3 тт. Под ред. Калашникова А. Г. М., 1930). Затем курсы такого типа возникли во многих странах, в том числе и в России в конце XIX — начале XX века. По имени Ф. Фребеля они назывались *фребелевскими курсами*, а их выпускницы — *фребеличками*.

Теперь ясно, почему *садовница* именовалась *фребеличкой*. Но почему она была *садовницей*? Потому что работала в саду? А почему вообще детский сад называется *детским садом*? Заглянем в историю появления этого термина, каторому, кстати, 150 лет.

Ф. Фребель считал мир единым, развивающимся по своим законам, которым подчиняется рост цветка, рост и развитие ребенка. Поэтому он многократно сравнивает детей с растениями, цветами, семенами, а работу воспитателя — с работой садовника. Достигнуть возможного человеческого совершенства ребенку помогает взрослый воспитатель, как растению — заботливый садовник: «(…) в настоящем детском саду никакая, даже малейшая деятельность не остается без воздействия на столь же чувствительные зародыши человечества в нем» (Фребель Ф. Пед. соч. В 2 тт., М., 1913).

Таким образом, то заведение, где происходит этот рост детей и их развитие, при таких философских и педагогических взглядах Ф. Фребеля со временем получило вполне естественное поэтическое наименование *детский сад*.

В России впервые это выражение появилось во второй половине XIX века. В 1857 году известный русский педагог В. И. Водовозов (1825—1886) опубликовал статью «Детские сады в Германии», где познакомил широкую русскую общественность с этим видом фребелевских учреждений и употребил впервые на русском языке выражение *детский сад*.

Оба компонента заинтересовавшего нас выражения связаны, как мы убедились, с именем и деятельностью Ф. Фребеля: в детском саду Фребеля (Kindergarten) воспитывали детей именно *садовницы* (Kindergärtnerin): «(…) детский садовник и любящая детей детская садовница должны, по возможности, ясно представлять себе, что это [Ф. Фребель пишет о детских играх.— Л. М.] действует на расположение духа ребенка, как яркий солнечный свет и теплый воздух на зародыши, почки и цветы весной...» (Фребель Ф. Указ. соч.).

Чтобы установить причины отступления *фребелички-садовницы* перед *воспитательницей детского сада* в русском языке (в немецком языке Kindergärtnerin сохранилось), необходимо в первую очередь вспомнить, какие еще названия — «конкуренты» существовали для обозначения этой профессии.

Кроме упомянутых *садовница*, *фребеличка-садовница*, *детская садовница*, были и другие наименования: *лесгафтички* (по имени П. Ф. Лесгафта); *наставницы* (например, у В. И. Водовозова: «основано(…) училище для приготовления искусных наставниц в детские сады»); *руководительницы* (*руководительницы отделения*, *руководительницы дошкольного образования*, *руководительницы детских садов*); *учительницы* (см. у Н. К. Крупской: «в детском саду

занимаются с детьми много учительниц, которые с любовью берегут их». Пед. соч.: в 6 тт., М., 1978. Т. 1. С. 13); *воспитательницы* (сначала все-таки чаще *семейные*); разнообразные описательные термины (*работники детских садов, работники детских очагов, работники дошкольных учреждений, работницы по дошкольному воспитанию, деятели по дошкольному воспитанию, персонал для дошкольных учреждений, дошкольные работники, дошкольный кадр*) и пр. Все эти наименования употребляются параллельно, замещая друг друга даже в работах одних и тех же авторов. Но если в трудах дореволюционных чаще в этом значении встречается термин *садовницы*, то после революции его заменяют термины *дошкольницы* (*руководительницы-дошкольницы*) и *дошкольники*. И, наконец, самым распространенным становится термин *воспитательница детского сада* — «педагог, осуществляющий воспитательную работу и общее наблюдение за группой детей в дошкольном учреждении» (Пед. словарь. М., 1960).

Почему из этой весьма обширной группы общепринятым стало именно наименование *воспитательница детского сада*? Попробуем установить, нет ли здесь какой-либо языковой закономерности, определившей судьбу слов и выражений, входящих в эту тематическую группу.

Обратим внимание на словообразовательные модели, по которым созданы рассмотренные нами наименования, на тип мотивации. Важно определить, какая из этих моделей более соответствует тенденциям образования терминов, действующим в конкретной тематической группе.

Название *детская садовница* связывается с выражением *детский сад*, то есть обозначением места, где проходит ее деятельность. Обычно же в русской педагогической лексике эта модель используется для обозначения наименований воспитанников: *детский сад* — *детсадовец*; *школа* — *школьник, школьница*; *гимназия* — *гимназист, гимназистка*; *лицей* — *лицеист*; *семинария* — *семинарист*; *детский дом* — *детдомовец* и т. п.

Названия же профессий педагогических работников образуются большей частью от глаголов, обозначающих педагогические действия: *учить* — *учитель* — *учительница*; *воспитать* — *воспитатель* — *воспитательница*, *преподавать* — *преподаватель*, *кормить* — *кормилица* и др. По этому типу образованы наименования работников дошкольного воспитания: *учительница, воспитательница, руководительница, наставница*.

Дальнейший выбор одного из этих наименований зависел уже, вероятно, не от их качеств и признаков, а от значений, свойств мотивирующих глаголов и от того, какой вид деятельности будет признан основным в детском саду. Фактически эта деятельность

была связана с кормлением и уходом, что ближе соотносится с понятием *воспитание*. При всей сложности и многозначности термина *воспитание*, первоначальное значение слова было близко к понятиям *питание*, *вскармливание*, к существовавшим терминам *уход*, *вращивание*, *выращивание*. Немаловажно и то, что слово *воспитательница* стало служить единственным наименованием профессии как раз в тот период, когда перед системой дошкольного воспитания, уже государственной, были поставлены трудновыполнимые задачи именно воспитательного характера.

Однако слово *воспитательница* уже имело в языке другие значения. Поэтому и возникло принятое теперь в качестве официального названия профессии словосочетание *воспитатель, воспитательница детских садов*. И навсегда исчезли *фребелички-садовницы*.

Омск



Спонсор и Спецназ

Е. В. ЛАРИОНОВА

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным туманным значением.

М. Зоценко. «Обезьяний язык»

Среди новейших английских заимствований особенно выделяется слово *спонсор*. С середины 80-х годов это малопонятное обозначение из жизни капиталистов эпизодически появлялось на газетных полосах, но уже к концу прошлого десятилетия *спонсор* завоевал печатное пространство и освоился в устной речи: «У кого есть деньги, те могут их потратить на что угодно, в том числе и на кино. Такой человек называется „спонсор“. Вот японцы пытаются заинтересовать то одного спонсора, то другого» (Огонек. 1988. № 52); «...все ищут издателей, партнеров, кредиторов, спонсоров, да, да, „спонсоров“ в первую голову, слово это, еще недавно почти у нас неизвестное, ныне у всех на слуху...» (Сов. культура. 1989. 23 февр.).

Несмотря на широкое употребление слова, точное его значение многим неизвестно. И на это есть несколько причин. Во-первых, пока слово входит в другой язык, его смысловый объем окончательно не сформирован; во-вторых, его нет в словарях русского языка, даже в словарях иностранных слов. Чтобы узнать значение модных заимствований, любопытным приходится заглядывать в англо-русский словарь, поскольку большинство таких слов пришло из английского.

К примеру, в Большом англо-русском словаре отмечены все значения слова *sponsor* в современном английском языке. Приведем основные: поручитель; лицо, финансирующее какое-либо мероприятие, организацию; фирма, заказывающая радио- или телепрограмму в рекламных целях; организатор, инициатор; крестный отец или мать (Изд. 4-е, в 2-х т., исправ. Т. II., М., 1988. С. 523). Отметим, что в английском языке слово *sponsor* обладает прозрачной внут-

ренной формой «поручитель» (крестный отец — «поручитель перед богом»), это его первоначальное и основное значение, в котором оно было заимствовано из поздней латыни во второй половине XVII века. Значение «тот, кто оплачивает программу на радио в обмен на коммерческую рекламу (после 1947 года — и на телевидении)» сформировалось в 30-е годы, а значение «тот, кто финансирует что-либо или кого-либо, оказывает материальную поддержку» — в 60—70-е годы.

В последнем значении слово широко распространилось во многих языках, в том числе и в русском. Первоначально в русском языке его сочетаемость была крайне ограниченной, оно употреблялось, как правило, с двумя словами: *искать спонсора* и *находить спонсора*: «Обязательно будем искать спонсоров, заинтересованных в рекламе, которые могли бы взять на себя расходы...» (АиФ. 1989. № 38); «...придется ... искать загодя солидных спонсоров» (Известия. 1989. 12 мая); «Спонсор найден, работа началась» (Известия. 1989. 10 нояб.) Затем сочетаемость слова, как и сфера деятельности спонсоров, постепенно расширялась. Так, сегодня спонсоры *финансируют, дают деньги, поддерживают, помогают, не скупаются, вручают призы*; они *необходимы*, на них *надеются, делают ставку, рассчитывают, их благодарят, ими решают стать, в роли спонсоров выступают*. Спонсоры бывают *первые, главные, основные, генеральные, солидные, надежные, мощные* и даже *хищные*. Необычайно высокая для недавнего заимствования частота употребления привела к образованию целого гнезда производных слов: *спонсорский, спонсорство, спонсировать, фирма-спонсор*.

Этому английскому слову удивительно быстро удалось преодолеть рубеж книжности и перейти в обиходную лексику, хотя и не без потерь для его «репутации»: в разговорной речи слову *спонсор* часто придается шутливо-ироническая окраска.

До появления слова *спонсор* в русском языке существовали следующие слова со значением «человек, оказывающий материальную помощь»: *благотворитель, филантроп, меценат*. Однако слова *благотворитель* и *филантроп* — из лексикона ушедшей исторической эпохи. Они употребляются сегодня крайне редко, зато слово *меценат* «богатый покровитель наук и искусств» — достойный соперник *спонсора*.

Своеобразие соперничества *меценат* — *спонсор* состоит в том, что в современной русской лексике старое книжное слово *меценат*, как и новое *спонсор*, находилось на периферии. В активном употреблении слова *меценат* был длительный перерыв: после 1917 года само понятие вышло из обихода. Слово окончательно не выпало из лексики, подобно словам *благотворитель, филантроп*, в силу

широкой распространенности в русской художественной литературе и при описании зарубежной действительности в переводных текстах. Его спас интернациональный характер. Появление в языке нового заимствования с близким значением вернуло слово *меценат* в актив, способствовало под влиянием других языков расширению его значения «вообще тот, кто покровительствует какому-нибудь делу, начинанию» (отмечено в последних изданиях Словаря Ожегова, начиная с 21-го. 1989). В сегодняшней прессе *меценат* устойчиво употребляется применительно к сферам искусства, культуры, науки, например: «Во всем мире бизнес традиционно поддерживает культуру и искусство, а государство поддерживает меценатов...» (Культура. 1991. 16 нояб.). Часто слова *меценат* и *спонсор* употребляются синонимично, иногда подразумевается какая-то разница в значениях, но, как правило, из контекста она не выводится, например: «Без рекламодателей, спонсоров, меценатов и т. п. газета сегодня нежизнеспособна» (Комс. правда. 1991. 21 дек.).

Меценат (лат. Maecēnās) — известная историческая личность, богатый римский патриций эпохи императора Августа, его приближенный, прославился благодаря покровительству поэтам Вергилию, Горацию, др. Его имя стало нарицательным и подразумевает щедрых людей, поддерживающих таланты.

Очевидно, облик яркой личности, скрыто присутствующий в значении, тесная связь с лицом мешает назвать так предприятие, организацию, фирму. Поэтому *спонсор* может восприниматься как переименование того понятия, которое прежде называлось словом *меценат*: «Помогают нам и спонсоры, продолжающие дело таких меценатов прошлого, как Мамонтов, Морозов...» (Известия. 1991. 22 нояб.).

Между тем в значениях слов *спонсор* и *меценат* имеется и более существенная разница: отношение к выгоде — вот та сторона значения, на основе которой возможно противопоставление. *Меценат* — покровитель, не ищущий выгоды. А *спонсор* — это прежде всего деловой партнер, получающий от вложения средств определенный выигрыш: коммерческую рекламу, значительное уменьшение сумм налогов, взимаемых государством (во многих странах система налогообложения поощряет благотворительность).

В сегодняшнем употреблении преобладает слово *спонсор*. Во-первых, оно шире по значению, может называть не только лицо, но и предприятие, охватывает разные стороны общественной жизни. Во-вторых, шире и сфера его использования, т. к. слово лишено книжной окраски. Кроме того, заимствование обладает обаянием новизны, загадочностью, особым шиком (пока оно не становится известным многим).

Но у слова *спонсор* есть свои серьезные проблемы. Самая сложная заключается в том, что наряду с рассмотренными, оно осторожно начинает употребляться и в других значениях английского *sponsor*: «фирма, заказывающая радио- или телепрограмму в рекламных целях» и «гарант» («поручитель»). Но слово не может без путаницы, без потерь заимствоваться сразу в нескольких значениях, которые постепенно формировались в языке-источнике. Поэтому можно ожидать возрастания активности слов, способных заменить *спонсор* с целью уточнения, для *спонсора-покровителя* это будет *меценат*, для *спонсора-поручителя*, возможно, *гарант* (отмечены случаи употребления нового сложного слова *гарант-спонсор*). Еще одна проблема связана с тем, что все остромодное особенно быстро забывается. Так что результат состязания *мецената* и *спонсора* предсказывать еще рано. Во Франции, например, победило слово *sponsor*: что это такое, знают 69% французов, а слово *mécène* «меценат» известно 42% (Наука и жизнь. 1989. № 10).

«...Спонсор...обязан делать добро и давать людям веру в чудесное» (Комс. племя. Киров. 1989. 30 дек.). Наверное, в конечном счете не так уж и важно, кто будет «давать людям веру в чудесное» — *спонсор* или *меценат*, главное, чтобы их было больше.

Магадан

Деловой человек

Л. А. МОРОЗОВА

«Ишь ты, деловой какой!» — ругает уставшая от бесконечных дефицитов очередь тех, кто пытается протиснуться к прилавку быстрее положенного.

А вот словарями прилагательное *деловой* определяется как «знающий, толковый, дельный» (Ожегов, с. 146). Своим происхождением оно обязано слову *дело*, весьма многозначному: в первом значении *дело* — это «работа, занятие, деятельность»; в пятом — «специальность, круг знания»; а в шестом — «предприятие» (Ожегов, с. 146). Дело и явилось словообразовательной основой прилагательного, причем базовой, семантически значимой. А в английском языке *дело* — означает бизнес, который в свою очередь есть коммерция, т. е. деятельность, приносящая доход, прибыль. Следовательно, *деловой человек* — это бизнесмен. Наши словари трактовали слово *бизнес* как вид деятельности только в капиталистическом обществе: «то, что является источником личного обогащения, наживы (деловое предприятие, ловкая афера и т. п.)» (Ожегов, с. 47). Заметим, что это определение отражало направление всей нашей лексикографии в отношении всего «ненашего» — обязательно плохого и осуждаемого.

Что свое всегда лучше чужого, мы впитали с молоком матери, об этом, кстати, напоминают наши народные речения: *Живи своим умом, Всяк кулик свое болото хвалит, Всяк кулик на своем болоте велик, Свои люди — сочтемся, Свои береги, а чужого не зри, Свой хлеб сытнее, Своя рубашка ближе к телу* и мн. др. На народной философии и должен бы возродиться наш, свой деловой человек — предприниматель, организатор, созидатель, чья деятельность направлена на пользу государству, а сам он получает выгоду и удовлетворение.

Попытаемся представить себе языковой портрет такого делового человека. Верим, что он не перепутает *статус* (правовое положение) со *статусом* (уставом); не назовет *консенсус* (согласие) конценсусом; будет четко знать, что *эксклюзивное* интервью (предоставляемое исключительно определенной фирме или отдельному лицу-журна-

листу) отличается от *инклюзивного* (доступного любой программе, газете, редакции). Он владеет не только «родным, великим и могучим», но и знает один или несколько европейских языков. В его речи естественны и привычны такие слова, как *инвестиция* (долгосрочные вложения капитала), *императив* (настоятельное требование) и весь набор терминов биржевой и предпринимательской деятельности от *аваль* (особое поручительство по векселю) — до *экзаутинг* (финансовая информация).

Наш деловой человек должен владеть терминами политики, юриспруденции и хорошо разбираться в экономических проблемах. Эти три кита и сформируют его речевой и деловой портрет. И тогда в нашем сознании при словосочетании «деловой человек» возникнет не представитель деловых кругов Америки, владеющий тайной научно-технической информации своего профиля производства (ноу-хау) и знающий о нем все, что известно миру на сегодня, — а наша мысль обратится к образам близким, отечественным.
